

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Статьи,  
исследования  
и материалы



# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

## СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Межвузовский научный сборник

11

В сборнике исследуется творчество Чернышевского — литературного критика и художника слова. Взгляды Чернышевского сопоставляются с позицией западноевропейских писателей (Ж. Санд, У. Теккерей) и историков (Гизо). Продолжено изучение темы «Маркс и Чернышевский». Публикуются новые биографические материалы о Чернышевском, данные о влиянии его творчества на демократическую литературу народов СССР, сведения из истории Дома-музея Н. Г. Чернышевского и издания Полного собрания сочинений.

Выпуск посвящен 100-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского.  
Для широкого круга филологов и историков.

Редакционная коллегия: *Г. Н. Антонова*, канд. филол. наук, доц., (зам. отв. редактора), *А. А. Демченко*, докт. филол. наук, проф. (отв. редактор), *Г. В. Макаровская*, канд. филол. наук, доц., *Г. П. Муренина*, директор Дома-музея Н. Г. Чернышевского, *Е. П. Никитина*, докт. филол. наук, проф., *И. В. Попов*, докт. филол. наук, проф., *Л. Я. Паклина*, канд. филол. наук, доц., *Г. Ф. Самосюк*, канд. филол. наук, доц. (отв. секретарь).

Ч  $\frac{4603010000-78}{176(02)-89}$  173—89

ISBN 5—292—00326—3

© Издательство Саратовского  
университета, 1989 г.

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В очередном 11-м выпуске межвузовского сборника помещены статьи и материалы, посвященные актуальным проблемам изучения биографии и творческого наследия великого русского революционного демократа.

Содержание статей, открывающих первый раздел сборника, составил анализ суждений Чернышевского, участвовавших в формировании понятий «творческая индивидуальность критика», «концепция личности». Эти понятия и по сей день являются ключевыми в литературно-критических и этических системах. Исследуются взгляды Чернышевского-критика на художественную специфику русской прозы, рассматривается его позиция в полемике вокруг «Отцов и детей» Тургенева. В новых аспектах изучается роман «Что делать?», заключающий в себе многочисленные литературные реминисценции и позволяющий провести ряд содержательных сопоставлений с творчеством Ж. Санд, У. Теккерея. В статьях, посвященных изучению мировоззрения Чернышевского, осуществлен пересмотр источников, выясняющих его отношение к трудам К. Маркса и французского историка Гизо.

Во втором разделе сборника предлагается подборка литературных материалов, отразивших появление имени Чернышевского и героев его произведений в прозе и драматургии второй половины прошлого века. Проблеме изучения эпистолярного наследия революционных демократов посвящено сообщение «Письма Добролюбова». Большая исследовательская тема «Н. Г. Чернышевский и литература народов СССР» представлена публикацией об азербайджанской литературе. Печатаются новые архивные документы об отце Чернышевского. Из личного архива Н. М. Чернышевской извлечены материалы о ее работе над Полным собранием сочинений Н. Г. Чернышевского в 1939—1953 годах.

Выпуск сборника приурочен к 100-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского.

М. Г. ЗЕЛЬДОВИЧ

## КРИТИКА И КРИТИКИ

### ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КРИТИКА

#### I

В заглавии статьи сопряжены две опорные для нее категории: «критика» как род творческой деятельности и «критик» как творческая индивидуальность, данной деятельностью занимающаяся. Это необходимо прежде всего потому, что без конкретного представления о природе и функциях литературной критики невозможно выработать и сколько-нибудь убедительное толкование творческой индивидуальности критика (как невозможно это сделать в сфере искусства без соотнесения соответствующих явлений). С другой стороны, намеченное сопряжение предполагает, что именно в творческой деятельности критика — в меру его личностных устремлений, качеств, возможностей — не только «преломляется», но и создается, обогащается сама природа критика, «реализуются» ее сущность, искания и функции.

Легче всего низвести сказанное к банальности: без критиков нет критики. Но тогда этой банальности можно противопоставить другую, однотипную: без писателей нет литературы. Однако опыт обстоятельных специальных исследований показывает, что только на поверхностных, непрофессиональных взглядах все здесь ясно и просто до банальности. А в действительности, сколько же требуется изощренных усилий постичь, особенно в конкретно-историческом плане, своеобразие писателя, его соотношения и взаимосвязи с литературой, литературным процессом!

Впрочем, какие бы теоретические версии ни выдвигать, в работах Чернышевского сопряжение «критики» и «критиков» (в обозначенном смысле) стало своего рода принципом, которому он следует с нарастающей настойчивостью, все полнее обнаруживая свои взгляды. Примечательно, что подобная «диалектика идей», как увидим, по-своему отражает «диалектику вещей» — практических задач, поставленных перед Чернышевским его временем.

Поскольку в работах Чернышевского термин «творческая индивидуальность», как известно, не применяется (его тогда вообще не существовало<sup>1</sup>, хотя соответствующее ему понятие постепенно формировалось), изучение проблемы связано со специфическими трудностями<sup>2</sup>, в частности, в аргументации и осуществлении принципа конкретного историзма. Но это, думается, по-своему тоже свидетельствует о необходимости ее изучать. Недаром все более четко осознается плодотворность осмысления и «скрытого» или, по терминологии Д. Е. Максимова, «необъявленного» (но объективно существующего и входящего в нее реальным компонентом!) содержания критической статьи.

Если применительно к литературе категория «творческая индивидуальность» активно разрабатывается, реализуется в исследованиях, то в науке истории критики такие изучения эпизодичны и разрозненны, поскольку отсутствует хотя бы рабочая гипотеза о сущности и «параметрах» творческой ин-

---

<sup>1</sup> Хотя порознь оба занимающие нас слова уже присущи русской лексике 30—40-х годов (правда, судьба их была различной: если «индивидуальность» утверждалась, то эпитет «творческий» в процессе демократизации лексики был отодвинут на периферию) и в 1840-х годах закрепляются авторитетными словарями. Притом уже у Белинского намечается и соотнесение понятий «талант» и «индивидуальность», — впрочем применительно лишь к писателю-художнику. Об этих явлениях см.: Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. М.-Л.: Наука, 1965. С. 48, 49, 69, 77—78, 397; Рейсер С. А. Творческая индивидуальность: К истории термина // Страницы истории русской литературы: К 80-летию члена-корреспондента АН СССР Н. Ф. Бельчикова. М., 1971. С. 357—365.

<sup>2</sup> О подобных познавательных ситуациях в исторической по своему характеру науке, о необходимости достичь непрерывного взаимодействия истории и теории явления из литературоведов наиболее обстоятельно писал В. В. Кожинов. См.: Кожинов В. В. Происхождение романа: Теоретико-исторический очерк. М., 1963. С. 7, 92—100. См. также: Михайлов А. В. Диалектика литературной эпохи // Контекст-82. Литературно-теоретические исследования. М., 1983.

дивидуальности критика, об историческом формировании соответствующего понятия<sup>3</sup>.

Тем более необходимо очертить исходные ориентиры относительно этой категории. Именно ориентиры, но не заданные параметры предполагаемых воззрений Чернышевского.

Как и в литературе, в критике «творческая индивидуальность» — это личность... в ее важнейших социально-психологических особенностях<sup>4</sup>, идейно-мировоззренческих устремлениях, в конкретности ее эстетических критериев и вкусов, критического метода, в присущих ей глубине и объективности видения<sup>5</sup> литературного процесса (соотнесенного или не соотносимого с действительностью), художественного мира писателя, отдельного произведения, в своеобразии проблематики и истолкования теоретико-методологических проблем самой критики, в отличительных приметах мастерства, стиля, жанра, композиции. Творческая индивидуальность в критике, таким образом, обладает (с точки зрения литературоведа) пятью основными уровнями: идейно-мировоззренческим; эстетическим; методологическим; уровнем мастерства; жанрово-стилевым.

Разумеется, роль и степень развитости, активности этих уровней (и каждого из них, и их сочетаний) различны в различные периоды, в различных критических направлениях, наконец, в творчестве различных критиков (и даже одного и того же автора в разное время). Относительная значимость,

---

<sup>3</sup> Назовем, однако, работы, в которых в теоретическом аспекте рассматривается обсуждаемая проблема: Бурсов Б. И. Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956; Он же. Критика как литература. Л., 1976; Зельдович М., Лившиц Л. Натура борца: О творческой индивидуальности критика//Вопр. лит. 1963. № 10; Кубилюс В. Критика — специфический образ мышления//Современная литературная критика: Вопросы теории и методологии. М., 1977. Изучению индивидуальности критика могло бы и в этом случае способствовать исследование особенностей творческого процесса. Ср.: Богачева М. Проблема творческой индивидуальности в русской психологии и психофизиологической эстетике конца XIX — начала XX в.//Вопросы истории и теории эстетики. М., 1970. Вып. 6. Разумеется, для нашей темы существенны и работы по истории и теории критики, специально не касающиеся проблемы творческой индивидуальности, но дающие для ее решения важные идеи и материалы.

<sup>4</sup> Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970. С. 82.

<sup>5</sup> См.: Борев Ю. Б. «Объективное» и «субъективное» в современном критическом анализе//Современная литературная критика. Семидесятые годы. М., 1985. С. 87.

мера действительности различных уровней и их сочетаний, в свою очередь, становится важной и выразительной приметой и критического направления, и творческой индивидуальности<sup>6</sup>.

## II

В ряду способов воздействия Чернышевского на литературный процесс, едва ли не ключевая роль принадлежала критике. Это отразилось и в его стратегии (создание «Эстетических отношений искусства к действительности», обосновавших, уже по признанию современников, наряду с творчеством Белинского, исходные теоретико-методологические позиции демократической критики, прямая, поистине программная ориентация на наследие «неистового Виссарiona»), и в тактике (выдвижение попеременно на первый план наиболее актуальных аспектов критики — сообразно наиболее значимым в данный момент сторонам развития самой литературы).

И вместе с тем, то, чего Чернышевский ждал или даже требовал от критики, неизменно носило, по крайней мере, в главном личностный характер. Притом не просто потому, что по мере преодоления нормативности критериев и безличности выводов, оценок в критике крепло и многообразно заявляло о себе личностное начало. И не только потому, что речь шла о субъекте именно творческой деятельности.

Огромное значение имела и природа этой деятельности вообще, и характер задач, выдвигаемых перед критиком Чернышевским. Ведь он, критик, судит о художественных произведениях, обнимающих так или иначе самую жизнь в ее многосложной реальности, о произведениях, воплотивших в себе — прямо или «от противного» — и авторские представления о прекрасном, справедливом, нравственном. Притом в художественно конкретной, индивидуально-человековедческой форме. Это значит, что для осмысления, оценки, интерпретации литературного произведения, для решения других, еще более сложных задач, критика требует «всего человека», который в ней и проявляется в своей личностной полноте. Подобно тому, как, по известной мысли Чехова, про-

---

<sup>6</sup> См.: Зельдович М. Г. Параметры критической статьи (К постановке проблемы)//Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1979; Он же. Страницы истории русской литературной критики. Харьков, 1984. С. 175—186.



является писатель в своем художественном творчестве. Хотя в такой логике прежде всего отражаются родовые особенности критики, оригинальность Чернышевского в том, как он «опознал» и «использовал» эти особенности, в какой именно последовательности обнаруживал и поддерживал личностные качества критика.

Примечательное обстоятельство общего характера, с которого уместно начать анализ, заключается в том, что у Чернышевского и программные, философско-эстетические идеи нередко приобретают также «индивидуальный», личностный поворот, личностное преломление. В своей диссертации, как известно, — и это ее программная задача, — Чернышевский занят реабилитацией или даже «апологией действительности» (II, 89). Вскоре в «Очерках гоголевского периода...», вводя емкое и очень значительное понятие «положительный человек», Чернышевский одним из важнейших качеств его в жизни (применительно также к литературе этот критерий подхватит Добролюбов, в частности в «Литературных мелочах прошлого года») считал следование объективно, жизненно-исторически обоснованному идеалу, целеустремленную деятельность во имя его осуществления для блага общества (см.: III, 230 и др.).

Проблема творческой индивидуальности<sup>7</sup> возникает и разворачивается у Чернышевского в практике собственной критической работы, в полемике с другими критиками, в процессе осмысления и программного освоения наиболее поучительного в деятельности предшественников — опять-таки сообразно запросам современного литературного движения, поскольку проблема не имеет самодовлеющего, «отвлеченного» значения, то она и не воплощается (быть может, отчасти за вычетом исследования творческого пути Белинского, на что существовали особые, уникальные причины) во всеобъемлющие характеристики, — на первый план выдвигаются те или иные особенности критика, актуальные в сложившемся критико-литературном контексте, и представления Чернышевского о творческой индивидуальности воплощает лишь вся совокупность его наблюдений и суждений на этот счет. В результате этим представлениям присущ своего рода историзм — и как динамичность, и как внутренняя, меняющаяся соотношение с меняющимися обстоятельствами.

<sup>7</sup> О представлениях Чернышевского относительно творческой личности см., в частности: Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский. Научная биография. Часть вторая. Саратов, 1984. С. 159.

В борьбе за подъем критики, которая «после 1847 года... вообще заметно ослабела» (III, 135)<sup>8</sup>, в процессе утверждения своей программы, Чернышевский находит категории, в которых объединяются принципиальной значимости идеи и необходимые для их осуществления личностные качества. Причем это примечательно уже для первых его выступлений, хотя собственно методологические проблемы прямо и в полной мере в них еще не заявляют о себе. В дальнейшем личностное начало предстанет, как увидим, в другой форме, приобретет другой облик.

Строго говоря (и без априорной уверенности, будто только так и могло быть), следовало бы удивляться (именно так!) тому, что Чернышевский в программной статье «Об искренности в критике» (Современник, 1854, № 7) ставит во главу угла понятие не только не специфическое для критики, но и вообще означающее чуть ли не само собою подразумеваемое у литератора свойство — говорить то, что думаешь и чувствуешь, правдиво и откровенно. (В статье Ап. Григорьева «О правде и искренности в искусстве», опубликованной в 1856 г. в «Русской беседе», последняя категория менее парадоксальна, поскольку обращена к художественному творчеству и служит обоснованию его «ограниченности», нравственного пафоса, «рожденности» в противовес рассудочной «сделанности»).

В чем же причина появления и функциональный смысл категории «искренности» у Чернышевского? Думается, дело прежде всего как раз в том, что она сочетает принципиальные критерии и индивидуальную форму, нравственную ответственность за их осуществление, обращена тем самым и к разуму и к гражданской совести критика, вбирая в себя и многие злободневные (и одновременно непреходящие) проб-

---

<sup>8</sup> Основательное объективное исследование проблематики и завоеваний критики «мрачного семилетия», разумеется, не исключает того обстоятельства, что она как целое представляется эклектической, «измельчавшей» не только ретроспективному взгляду (как утверждают В. Кантор и А. Основат в двух несколько различных вариантах своей статьи о русской эстетике 40—50-х годов XIX в. (Вопр. лит. 1981. № 3. С. 187; См. также: Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века. М., 1982. С. 33), но и вполне компетентным современникам. См., в частности: Эдельсон Е. Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики//Москвитянин. 1852. Т. II. № 6; Дружинин А. Письма иногороднего подписчика//Библиотека для чтения. 1852. № 5; Григорьев Ап. Замечания об отношении современной критики к искусству//Москвитянин. 1855. № 13, 14.

лемы, и заботу о формировании в соответствии с ними творческих индивидуальностей нового поколения. С самого начала разговора об искренности в критике ей противопоставлены не абстрактно «антонимические» качества (лукавство, двоедушие, ложь, сокрытие своих чувств и взглядов и т. п.), а «уступчивость, уклончивость как мягкосердечие» главные причины «бессилия нынешней критики» (II, 241). Таким образом, речь идет о специфических профессиональных признаках, которые в своих положительных проявлениях образуют необходимые качества критики как таковой и критика как ее «полномочного представителя».

Обстоятельства побуждают Чернышевского к полемической форме, но «цель нашей статьи вовсе не та, чтобы выставить на вид чужие мнения, а та, чтобы яснее изложить наши понятия о критике» (II, 242). И вот тут-то и сказывается, что мелочность, неопределенность, уклончивость, снисходительная уступчивость и нетребовательность — это и есть в конечном счете неискренность. Может быть, сознательно и «незапрограммированная», но по-своему закономерная и неизбежная при нынешних ориентирах критики, ее критериях и манере. Иллюстрации? Их Чернышевский приводит обильно, анализирует доказательно, оценивает не просто иронически уничижительно, а сугубо принципиально, с нескрываемой заботой о серьезных конструктивных решениях. В одно и то же время программно-методологических и личностных (недаром в «неискренности» Чернышевский порою усматривает посягательство на «самые элементарные начала всякой критики» — II, 247)! В этих же двух планах строятся и его «замечания» о сути и достоинствах подлинной критики, а значит, и настоящего критика.

Каковы же хотя бы главные из этих достоинств?

Последовательность как верность своим критериям в их практических приложениях, умение менять мнения и оценки при перемене обстоятельств, изменяющих объективную значимость и ценность литературных произведений. Кажущаяся непоследовательность выступает при этом как своеобразная форма последовательности, как «верность своим эстетическим требованиям» (II, 249) и шире — творческим принципам вообще (см.: II, 249).

По сути речь идет об одной из граней творческой индивидуальности критика, на которую Чернышевским и перенесен акцент с общих проблем критики, разумеется, без какого бы то ни было умаления последних. Личностное выступает

как практическая реальность, условие осуществимости и осуществимости программных идей. Не теоретизируя, но щедро и подробно анализируя, Чернышевский в конечном счете обосновывает и выводы такого именно, личностного плана.

Поэтому и вся вторая половина статьи, содержащая и другие конструктивные идеи о современной критике и критике вообще, является и конкретизацией личностного начала в этой области творчества — «ясности, определенности и прямоты» (II, 254), ряда других, притом — такова позиция и логика Чернышевского — как «выражения мнения лучшей части публики» и средства «содействовать дальнейшему распространению его в массе» (II, 254).

Соотнесение с требованиями лучшей части читающей публики, способность выделить наиболее представительное и характерное в литературном движении — предпосылка и основа утверждаемых личностных качеств критика. Больше того — это само их внутреннее наполнение, их пафос и смысл!

С таким подходом (а не только с тактикой и ближайшими задачами Чернышевского в 1854—1855 г.) связаны и мысли автора статьи «Об искренности в критике» по поводу динамичности и гибкости эстетических критериев, умения актуализировать, внутренне переосмыслить наиболее действенные из них в данной ситуации (один из самых значительных фактов этого рода — трактовка в статье «содержательности» применительно к современной прозе — см.: II, 260). Речь идет не просто о живости ума, а об определенной структуре личности, ее творческого мышления, целеустремленного и нешаблонного, теоретического и практически результативного в одно и то же время.

Не выдвигая теоретически мотивированного понятия «творческая индивидуальность критика», Чернышевский намечает ряд элементарных (но, увы, как свидетельствует долгий опыт, нелегко достижимых) качеств, которыми должны обладать критика и критик, чтобы осуществить свое призвание. Вскоре Чернышевский получил возможность на историческом материале и по-новому подойти к властно заявившей о себе проблеме.

### III

Единственная в своем роде работа Н. Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы» представ-

ляет собою главным образом — единственную в своем роде (сходный отчасти замысел формировался у Ап. Григорьева) — серию творческих портретов критиков 30—40-х годов, истолкователей произведений Гоголя. В «Очерках», как ни в одной другой его работе, воплотились представления автора об индивидуальности критиков и возможностях критики, о важнейших параметрах их характеристики и оценки. В огромной степени (а, может быть, даже в решающей) этому способствовала одновременно принципиальная и тактически целеустремленная по сути своей установка Чернышевского, касающаяся самого способа доказательства его наблюдений и выводов. Исследование критических мнений о Гоголе автор «Очерков» основывает на том, чтобы «стараться показывать отношение мнений того или другого критика об отдельном вопросе к общему характеру его критической деятельности: этим чрезвычайно облегчается и уясняется дело» (III, 43—44).

Особым образом осмысленные задачи современного литературного движения в противоборстве художественных и критических установок как бы задали Чернышевскому угол зрения, который требовал и индивидуально конкретного анализа позиций толкователей Гоголя, делая вдвойне непримлемыми и «суммарность», и «приведение к общему знаменателю».

По другому поводу в «Очерках» Чернышевский заметил, что «общие суждения, как бы ни были ярки, всегда бывают бесцветны в сравнении с приговорами об индивидуальных явлениях» (III, 106). Автор «Очерков» и решает свою сквозную программную задачу не в порядке абстрактно-логического анализа оценок, характеристик, прогнозов, вызванных произведениями Гоголя. Осмысление его творчества критикой представляет как лично многообразный, разнонаправленный, динамический процесс. Галерея критиков в «Очерках» — от Н. Полевого до В. Белинского — это серия явных индивидуальных с крупно выписанными чертами их идейно-эстетической позиции в целом, восприятия отдельных вещей Гоголя, в частности.

Постижение своеобразия критика выступает у Чернышевского с самого начала «Очерков», а в новом качестве и с особой результативностью в статьях о Белинском как способ приближения к реальности критического творчества, борьбы вокруг Гоголя и проблем развития русской литературы. Сама индивидуальность критика, ее характер и смысл в «Очер-

ках» *своего рода аргумент*, и тем надежнее и весомее ему надлежит быть.

«Портреты» у Чернышевского всегда конкретны и вместе с тем типологически различны. И по «набору» характерных для критика особенностей. И по расстановке акцентов, по преимущественному интересу то ли к нравственной стороне деятельности (Сенковский), то ли философско-эстетической (Полевой, Надеждин). И по способу постижения индивидуальности — то ли обобщающе-очерковым, «суммирующем» лабораторный анализ автора (в той или иной степени все статьи, кроме посвященных Белинскому), то ли развернуто-аналитическом, при котором прослеживается сам процесс становления критика и его конечных творческих завоеваний (статьи о Белинском).

Однако во всех случаях индивидуальность понимается Чернышевским как явление не случайное, а в своем роде закономерное и именно поэтому объяснимое. Правда, в понимании закономерности того или иного видного критика очерки Чернышевского тоже типологически различны в своих методологических установках и отчетливо делятся на две группы — о предшественниках Белинского и самом Белинском (в этом сказалась и перемена первоначального замысла автора, его намерение извлечь конкретные уроки из деятельности Белинского в истории ее становления). В очерках о предшественниках Белинского (речь идет только о них) своеобразии их позиции, творческого «поведения», оценок, выводов Чернышевский связывает с ближайшими идеологическими (а отчасти и характеристиками) обстоятельствами их деятельности. Причем можно заметить, что чем значительнее критик, тем дальше идет Чернышевский в объяснении его особенностей. Так, о Сенковском говорится главным образом в плане индивидуальном: замечательный ум, эрудиция, а также «недостаток эстетического вкуса» (III, 74), «невольное сознание перед собою в своей неспособности оценивать достоинства и недостатки литературных произведений» (III, 60). В очерке о Шевыреве немало места отводится характеристике его идеологической позиции в контексте обществено-литературного движения, в частности отличиям от славянофильского учения, тенденции к «утрированной» (III, 87) теории официальной народности. В конечном счете наблюдения этого рода служат пусть и не прямой мотивировкой взглядов Шевырева на творчество Гоголя, а вместе с тем и существенных примет его индивидуальности как критика. Обра-

тившись к работам Шевырева, Чернышевский — опять-таки с целью дать представление об авторе — вводит, думается, элемент памфлетный, притом теоретико-методологического плана. Словно бы отступая от своего общего замысла, Чернышевский не намерен «отыскивать принципов его критики» (III, 82), даже касаться их. А все потому, что в любом случае — верны или ошибочны эти принципы — для их осуществления еще необходимы и ум, и вкус, и «особенная привычка» (т. е. методологическая последовательность. — М. З.) и специальная способность к тому» (III, 92). Именно этого — подсказывает логика контекста — и не обнаружишь у Шевырева.

Впрочем, такой поворот рассуждений совсем не означает действительного намерения Чернышевского пройти мимо самих оснований критики Шевырева. Заговорив о его «капитальной статье» «Очерки современной русской словесности», Чернышевский формулирует свою задачу так, что становится совершенно очевидным его возвращение к ...критериям и способу аргументации: «нас занимает не то, хвалит или осуждает г. Шевырев, а то, как и за что хвалит или осуждает он» (III, 103), вплоть до особенностей слога (см.: III, 105). Для нашей темы показательны даже не столько то, как Чернышевский воспринимает конкретные суждения Шевырева (скажем, об «эскизности» поэзии Пушкина или гоголевской фантазии, якобы подменившей собою в «Мертвых душах» «существенную жизнь», и под.), сколько то, как он уясняет и оценивает подходы Шевырева к искусству, характер его идейно-эстетических установок и требований, а в связи со всем этим и меру критической проницательности, постижения жизненной и литературной перспективы. Чаще всего в негативной форме в суждениях Чернышевского возникают контуры предпосылок и индивидуальности критика.

Портрет Н. Полевого отличается не просто совершенно иным отношением автора к критику, но и характерно иным набором и сочетанием параметров, призванных очертить его своеобразие. Теперь действует правило, в отношении Шевырева представлявшееся Чернышевскому малопродуктивным: «показать зависимость... суждений» Полевого о Гоголе «от общего характера, той системы понятий, замечательнейшим представителем которой у нас был Н. А. Полевой» (III, 43). Чернышевский предлагает более широкое, чем в отношении Шевырева, многосоставное объяснение творчества Полевого, причем анализ строится таким образом, чтобы показать и

индивидуальность, и представительность, «укорененность» Полевого в русской общественно-идеологической жизни.

Поэтому в поле зрения Чернышевского и философские воззрения, и эстетические взгляды, и литературная программа, и место Полевого в смене направлений русской общественно-литературной мысли, и его личные особенности в узком, специальном смысле слова. Два разноплановых, но в своем роде одинаково выразительных обстоятельства должны быть выделены особо.

Как уже говорилось, в характеристике Полевого у Чернышевского сочетаются факторы принципиальные, идеологические и личные, «индивидуальные», в определенном смысле производные (хотя и едва ли второстепенные). Принципиальные, поскольку неприятие Гоголя, ошибочные суждения о нем Полевого связываются Чернышевским с его отживающими понятиями об искусстве вообще и современной литературе, в частности. Поэтому, отдавая должное уму, добросовестности и последовательности Полевого, Чернышевский не без налета парадоксальности утверждает: «Он делал правильные выводы из принципов, сделавшихся с течением времени неудовлетворительными, — и ни его ум, ни его добросовестность нимало не теряют в глазах справедливого судью от нелепости выводов» (III, 41—42). В такой неожиданной форме обнаруживается, сколь значительным для творческой индивидуальности критика считал Чернышевский исходные принципы, эстетические критерии и творческую верность им.

Вместе с тем, и это второе обстоятельство, которое свойственно логике рассуждений Чернышевского, такой подход сочетает характеристику критико-эстетическую с нравственно-психологической (в сфере общественно-литературного поведения). И Чернышевский вовсе не намерен ни сводить последнюю к общим формулам («добросовестность», «ум», «бескорыстие» и т. д.), ни пренебрегать влиянием ее конкретного, «текучего», ситуативного содержания. Поэтому по-своему значимо то, что Чернышевский пишет о психологической ситуации, в которой оказался Полевой в пору борьбы вокруг Гоголя. Не только устаревшие, во многом ложные эстетические критерии, но и «горькое чувство сознания в том, что другие заняли место впереди его (в оценке творчества Гоголя. — М. З.), лишили его (и его убеждения, потому что он дорожил своими убеждениями) первенства, господства в критике, что литература перестала признавать его своим верховным судьей...» (III, 28), — все это тоже придавало индиви-



дуальности Полевого особый колорит и сброшено со счетов быть не может.

Постепенно конкретизируя представления о предпосылках и проявлениях творческой индивидуальности критика, Чернышевский закрепляет свои размышления в очерке о Надеждине, который, помимо своего самостоятельного значения, ближайшим образом готовит программные статьи о Белинском. Чернышевский в данном случае с особой, едва ли не демонстративной целеустремленностью показывает, что может сделать критик, талантливо улавливающий запросы времени, и как они преломляются в его становлении в качестве личности. Закономерно для замысла «Очерков», что на этот раз, наряду с особенностями ума и характера (эрудиция, проницаемость, смелость, даже горячность, парадоксальность суждений и оценок), наряду со стремлением трезво осмыслить состояние современной русской литературы, преодолеть «самообольщения» (см.: III, 156—157), не останавливаясь ради этого и перед трудной ролью «отрицателя», «разрушителя», наряду со всем этим Чернышевский, как ни в одном другом очерке о предшественниках Белинского, сосредоточивается на теоретико-методологических убеждениях Надеждина. Сама способность и склонность к ним Надеждина выступают в оценках Чернышевского значимой знаменательной, высоко ценимой особенностью Надеждина, а конкретное содержание его идей — показателем уровня и масштаба его индивидуальности. И как объяснение новаторства Надеждина, и как причина его всеобщего непонимания очень последовательно для решаемой Чернышевским задачи выдвигается то обстоятельство, что «основания, на которые опирались его приговоры, были незнакомы никому» (III, 157). Ставя таким образом во главу угла теоретико-методологическое своеобразие работ Надеждина, что же Чернышевский считает здесь наиболее «характеристическим»?

Прежде всего то, что можно бы назвать прообразом системности и что заявляет о себе уже в первых статьях критика. «Надеждин, — пишет Чернышевский, — опираясь на эстетические начала, ищет, есть ли *высшие художественные достоинства* в разбираемых им поэмах, и находит, что в них нет ни тени *художественного единства*, нет *идеи*, нет *лиц*, которые были бы ясно *поняты* самим автором, нет *выдержанных характеров*, наконец, нет и *действия...*» (III, 143 — курсив наш — М. З.). Это сказано по частному поводу, но имеет несомненный обобщающий смысл. И Чернышевский на-

меренно подчеркивает его, когда прямо ставит в заслугу Надеждину и разработку эстетических категорий: «Он заговорил о таких вещах, о которых до него и не слыхивали: об идее, как душе художественного создания, о художественности, как сообразности формы с идеею и т. д., и т.д.» (III, 160), и новизну, философичность критико-эстетических воззрений Надеждина: он «первый прочно ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд. Он дал нашей критике глубокие, всеобъемлющие принципы, открытые для эстетики немецкою наукою» (III, 163), «показал примеры, как прилагать эти принципы к суждению о поэтическом произведении» (III, 164) <sup>9</sup>.

Таковы своеобразие, масштабы индивидуальности Надеждина, которые объясняют также и его историческую роль «образователя» Белинского. В контексте «Очерков» это означает, что формирующееся понятие о творческой индивидуальности критика все активнее выступает и как орудие анализа, как своего рода способ изучения преемственности в этой области творчества, ее внутренней и отнюдь не «безликой» — закономерной национальной истории.

#### IV

Страницы о Надеждине — это и тематически, и методологически подступ и кульминация «Очерков» — статьям о Белинском. И вместе с тем здесь же, на стыке двух «персоналий» пролегает качественный рубеж в постижении Чернышевским индивидуальности критика. Но именно теперь целесообразно хотя бы кратко определить, какой облик эта проблема приобрела у самого Белинского, каковы были ближайшие и наиболее плодотворные традиции, на которые мог опираться автор «Очерков».

Вообще-то Белинского занимала не столько индивидуальность критиков-современников (хотя он ее учитывал в своей тактике и блестяще «запечатлел» в ряде памфлетных характеристик), сколько зависимость критики в целом от состояния и развития литературы, мера соответствия критических суждений и оценок тенденциям самой литературной практики, идеологическим исканиям: недаром Белинский не совсем

---

<sup>9</sup> Ср. суждения и выводы современного исследователя: Каменский З. А. Н. И. Надеждин. М., 1984. С. 115 и след.

привычным образом называл критику философским сознанием эпохи (VI, 271) <sup>10</sup>.

В связи с этим для него первостепенно важно осознать и программно закрепить особенности и общественно-литературные возможности критики. Так, обсудив и кое в чем оспорив классификацию видов критики, предложенную А. Никитенко (по сути она представляла собою и характеристику основных граней таланта, способностей и наклонностей критика — от аполитичности мышления до литературной нравственности), Белинский в итоге выступает за единую и целостную, многообразную по своим установкам критику, исходящую из определенной системы воззрений и органически сочетающую исторические и эстетические подходы. «Это и будет критикой нашего времени, в которой многосложность элементов ведет не к дробности и частности, как прежде, а к единству и общности» (VI, 284).

Если было бы натяжкой заключить, будто своими выводами Белинский определяет особенности творческой индивидуальности критика, то правомерно полагать, что ближайшие предпосылки, своего рода схему ряда основных аспектов этой индивидуальности он наметил точно и плодотворно. Причем Белинский конкретизирует эти аспекты в прямом и доказательном сопряжении с важнейшими эстетическими критериями и категориями. Для Белинского критик отличается, в частности, соотношением в его творчестве теории и практики, «разборов» и «размышлений», мерой своевременности программных идей и творческих принципов, отзывчивости на движение жизни и литературы, монистичностью и последовательностью мысли, умением постичь пафос художника и отдельного произведения (см.: VII, 307—309 и мн. др.) <sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Цит. по кн.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М.: АН СССР. 1953—1959; ссылки даются в тексте, римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

<sup>11</sup> У Белинского, как и вообще у классиков критики, особенно отчетливо и результативно заявляет о себе такое общее свойство литературно-эстетических категорий, как их полифункциональность. Конкретизируем это наблюдение на примере такой емкой категории, как «пафос»: это и объективное свойство творчества подлинного художника, отдельной его вещи, и критерий оценки того и другого, и — под пером критика — инструмент анализа, и вместе с тем — «пробный камень» для испытания таланта, индивидуальности самого критика в зависимости от характера, способа, социально-исторической и психологической пронизательности постижения пафоса исследуемых художественных явлений. См.: Руднев а Е. Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. М., 1977. С. 70 и след.

Изучение своеобразия Белинского мыслителя и критика, а это в «Очерках» единственный случай такого рода, хотя вообще о «развитии мнений» Чернышевский говорил порою применительно и к другим критикам, развернуто аналитически и осуществлено как исследование закономерного процесса становления и развития «неистового Виссариона»<sup>12</sup>. И то, какие при этом выделены особенности Белинского, как они соотнесены друг с другом и осмыслены, является важнейшим свидетельством о воззрениях Чернышевского, на творческую индивидуальность критика вообще. Конечно, и теперь необходимо учитывать отнюдь не академический характер решавшихся им задач — восстановления в правах наследия Белинского, прежде всего идейно-методологических завоеваний, и как нельзя более своевременного опровержения эстетизма в переломный момент развития общественно-литературной мысли.

Сообразно своим новым установкам и замыслам Чернышевский стремится преодолеть — и уверенно преодолевает — элементы «перечислительности» в характеристике различных «примет» критика, формирует для этого систему параметров, вскрывает причинно-следственные связи, субординацию между ними. Короче: поднимается на новую ступень в постижении творческой индивидуальности критика в системе своих литературно-эстетических убеждений.

Но прежде всего обращают на себя внимание отрицание автором «Очерков» самостоятельной роли личности — и как раз по поводу деятельности Белинского.

«В делах, имеющих истинно важное значение, сущность не зависит от воли или характера, или житейских обстоятельств действующего лица; их исполнение не обуславливается даже ничьей личностью. Личность тут является только служительницей времени и исторической необходимости» (III, 182). И еще резче: «мысль всецело принадлежит его (Белинского — М. З.) времени; от его личности зависело

---

<sup>12</sup> См.: Тойбин И. М. Белинский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского//Белинский. Статьи и материалы. Л., 1949; Зельдович М. Г. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968; Жук А. А. Вступит. ст. при издании: Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы/Жук А. А. Вступит. статья. М., 1984; Лиманцева С. Н. Чернышевский — историк русской критики//Н. Г. Чернышевский: История. Философия. Литература. Саратов, 1982.

только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль» (III, 183).

Как это ни парадоксально, но чем категоричнее звучат в «Очерках» общефилософские тезисы такого рода о роли личности (а они доведены до крайности), тем отчетливее постепенно вырисовывается и обретает доказательства важнейшая для Чернышевского мысль относительно... общественно-идеологической и литературно-эстетической закономерности и необходимости Белинского для России. Собственно, в этом и его значение и величие. Недаром же Чернышевский уточняет свои утверждения, прямо соотнося закономерности времени и свойства личности: «Если представителем критики в это время был Белинский, то потому только (!), что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость» (III, 183). В сущности, именно теперь и определяется истинный угол зрения Чернышевского в статьях о Белинском, побуждающий его обратиться к проблемам общественно-философской, социальной, критико-эстетической мысли в их закономерном развитии и личностном преломлении<sup>13</sup>.

Во всяком случае общая установка именно такова. И Чернышевский это демонстрирует сразу же, когда сравнивает личности (именно так: индивидуально-типологически!) Белинского и Надеждина, чтобы подтвердить: Белинский «только потому и выполнил свое назначение, что был готов к нему» (III, 184) как личность глубоко творческая и отзывчивая на передовые идеи века. В системе рассуждений Чернышевского это не тактический ход или просто непоследовательность, а вполне логичный и правомерный вывод из исходных посылок. В сущности, в первоначальной редакции пятого очерка он, в связи с характеристикой Белинского, вообще дает как бы анатомию таланта критика и утверждает единство объективной необходимости («замечательный критик не рождается, а делается критиком, вследствие особых условий, представляемых ему сосредоточением жизненных интересов его страны на литературных вопросах», (III, 766—767) и личностных качеств, «способности живо сочувствовать прежнему в соединении с проницательным здравым смыслом»

---

<sup>13</sup> Логика движения мысли автора «Очерков» и его основные выводы подробно рассмотрены: Зельдович М. Г. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968.

(III, 767)<sup>14</sup>, а следовательно, владеть «эстетическим вкусом» (III, 767), — и все это на основе осознанной патриотической преданности заботам демократической России (III, 136, 138, 770).

Закономерность появления Белинского и прослеживается, утверждается Чернышевским так же, как становление его творческой индивидуальности. Причем это касается всех «линий», аспектов, проблем, по которым идет изучение развития и свершений великого критика. Недаром во всех случаях Чернышевский поддерживает «решительные признаки самостоятельности» (III, 185) идет ли речь о философии Гегеля, уроках Надеждина, творческом опыте самой литературы.

Не входя в подробности, сошлемся хотя бы на некоторые «представительные», с нашей точки зрения, факты. Показав фундаментальное значение для Белинского (и всей отечественной мысли, — тема, которую продолжит Плеханов в знаменитой статье «Белинский и разумная действительность») принципа объективного обоснования идеала, Чернышевский и в данном случае не ограничивается общефилософским аспектом, а вводит и личностный, индивидуальный, на этот раз применительно к Белинскому. «Для такой живой природы, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доведшей до квиэтизма и апатии, к живому понятию о действительности был естествен и легок» (III, 220), — пишет Чернышевский, а затем уточняет: «он всегда рвался вперед, негодую на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой природы» (III, 220).

Литературная программа Белинского становится реальностью, общественным фактом, обретает перспективность не просто в силу ее объективной необходимости, но также благодаря его индивидуальным качествам в единстве с идейно-методологической позицией, столь обстоятельно исследованной Чернышевским: чуткости к происходящим в литературе переменам, уверенной ориентации в основных направлениях и их динамике, масштабности и перспективности критико-теоретических идей, умению во всем выделить главное, а в нем — решающе важное (это Чернышевский считает вообще

---

<sup>14</sup> См. также: III, 178, где также формулируются критерии таланта, творческой личности критика. Этот же круг вопросов затронут Чернышевским в одновременно с «Очерками» писавшейся работе о Лессинге (IV, 135, 139 и др.).

отличительной особенностью гения, но излагает свое наблюдение по поводу личности Белинского).

Особенно выразителен в данной связи подход Чернышевского к изучению критического метода, столь много значащего и выражающего в творческой индивидуальности. Вообще говоря, в 1850—1860-х годах эту проблему рассматривали прежде всего в генерализующем плане, то есть как проблему метода критического направления (Ап. Григорьев, отчасти А. Дружинин, позже — Н. Добролюбов и др.) в универсальности, «надличности» творческих принципов. Поэтому Чернышевский в своем подходе к этой стороне наследия Белинского не просто следовал традиции, а внутренне ее преобразовал, выступая новатором уже в самом обращении к исследованию процесса формирования метода, конкретных завоеваний выдающейся личности, — завоеваний, которые своими наиболее значительными идеями и входят, как известно, в систему принципов критического направления, «созидают» ее. Тем более, когда речь идет о критике гениальном, основоположнике самой плодотворной традиции целой эпохи. Автор «Очерков» показал сам процесс формирования метода Белинского как «борьбу» за метод, как движение к принципам, отвечающим философско-эстетическим и литературным убеждениям демократа и материалиста. И вместе с тем Чернышевский динамически выявил и утверждал общезначимое, основополагающее для всего направления преемников Белинского, что должно было быть — именно как система эстетических критериев и критических принципов — восстановлено в правах, деятельно включено в литературный процесс.

Из множества возможных в этой области проблем Чернышевский знаменательным для всех его построений образом выделяет две главные, «стержневые» по своей функции и представительности. Во-первых, Белинский и русская действительность, во-вторых, — соотношение эстетического и публицистического начал в его работах и тип критики Белинского.

Чернышевский подробно и взыскательно чуть ли не до пристрастия (настолько это важно для него) прослеживает путь Белинского, в связи с его общефилософской эволюцией, от абстрактной действительности к действительности исторически конкретной, национально определенной: со временем «явления нашей жизни занимают его более, нежели что бы то ни было другое» (III, 244) и постепенно его работы полностью «погружаются» «в нашу действительность» (III, 246).

Это содействует и переменам в структуре и типе критики Белинского, переменам, которые дают Чернышевскому материал для далеко идущих выводов, особенно если сопоставить его суждения о раннем Белинском и Белинском последних работ. В результате можно видеть, — и это один из главных методологических уроков, воплощающих в одно и то же время и индивидуальность Белинского, и суть его заветов, — «как постепенно расширяется круг предметов, говорить о которых Белинский считает своею главной обязанностью, и как чисто литературный взгляд его все более и более оживляется, соединяясь с заботой о других потребностях общества, как самая литература все яснее и яснее является Белинскому служительницей интересов не столько искусства, сколько общества» (III, 275). Отнюдь не считая вывод Чернышевского безукоризненно точным (в аналитических характеристиках он более гибко определяет суть метода Белинского, органичность «взаимодействия» в его статьях публицистичности и публицистики с собственно художественным произведением), нельзя отказать ему в том, что он демонстрирует исторически необходимое, перспективное сопряжение Белинским литературы и действительности и тем самым уясняет сам тип критики, который как нельзя более знаменателен для творческой индивидуальности Белинского и жизненно актуален для передовой общественной культуры.

Если считать статьи о Белинском — а для этого имеются все основания — наиболее полным, развернутым, аналитически обоснованным воплощением представлений Чернышевского о творческой индивидуальности критика, то подсказываемые этими работами выводы правомерно считать и вообще своего рода итогом воззрений автора «Очерков» по данной проблеме, его основным вкладом в формирование соответствующего ей понятия.

В характеристику индивидуальности критика в ее связях с природой критики у Чернышевского входит целый комплекс параметров: философско-идеологическая позиция, стимулы, «перводвигатели» творчества; критерий объективности общественно-эстетического идеала; роль национально-исторической действительности, мера близости к ней; восприятие, программная оценка состояния и перспектив развития литературы; принципы постижения художественного произведения и соотнесения его с действительностью; взаимодействие в анализах и размышлениях эстетического и публицистического начал; динамика творческих индивидуальностей как органический



признак развития литературной критики, формирования ее сущностных свойств и — соответственно-необходимый аспект науки истории критики.

Эти и другие параметры не сведены у Чернышевского в некое целостное «определение», не стали слагаемыми специальной научной категории, да он такой задачи и не ставил перед собою и время для этого еще не пришло. Но автор «Очерков», опять-таки не столько теоретизируя, сколько анализируя и систематизируя факты, наблюдения, выводы, самой направленностью и внутренней логикой мысли, как никто другой в критике XIX века, содействовал формированию категории творческой индивидуальности критика, ее практически действенному применению в литературном процессе. Именно это, а не отличие взглядов Чернышевского от современных представлений (которые теоретически предполагают, в частности, развернутую детализацию того, каким образом критик творчески осуществлял возможности критики, какой облик по основным параметрам они приобрели у него, их многогранно-личностный характер)<sup>15</sup>, правомерно сегодня считать первоочередным выводом из работ Чернышевского.

Н. М. БЕЛОВА

### **ЭТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ТРУДАХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ДОБРОЛЮБОВА И ИХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ**

Выявление новаторства этической теории Чернышевского и Добролюбова сравнительно с их западноевропейскими предшественниками — задача, достойная внимания.

Чернышевский называл свою философию антропологической, прямо ориентируясь на теории французских просветителей и Фейербаха. В связи с этим возникает вопрос, в чем причина его избирательного интереса к тому пониманию морали, которое уже вызывало основательные опровержения немецкой идеалистической философии.

---

<sup>15</sup> Ср.: Огнев В. Л. Лица необщее выражение... Заметки об индивидуальности критика // Лит. Россия. 1985. № 10. С. 5.

Этическая теория французских материалистов была защитой интересов личности, реабилитацией эгоизма, возводимого к природному инстинкту самосохранения. Гельвеций и Гольбах считали, что эгоизм в обществе преобразуется в интересы и стремления, порождающие страсти, которые под влиянием общественных нравов и государственного устройства получают доброе или порочное содержание. Страсти они считали источником движения и развития. Хотя, признает Гельвеций, страсти вводят нас в заблуждение, порождают иллюзии, тем не менее именно они являются «двигателем просвещения..., только они дают нам необходимую для движения вперед силу, только они одни могут освободить нас от того бездействия и той лени, которые всегда готовы овладеть всеми способностями нашей души»<sup>1</sup>.

Эта реабилитация страсти, рассматривавшейся в литературе и философии XVII в. как неразумная, губительная сила, объясняется тем, что для просветителей снова, как в эпоху Возрождения, мерой вещей становится человек. Наиболее полное проявление человеческой сущности, способностей личности — вот на чем, по их мнению, зиждется прогресс. Нужно только дать страстям правильное направление. Гольбах пишет: «...Пусть откажутся от нелепой мысли уничтожить страсти в человеческом сердце; пусть направят их на предметы, полезные для людей, пусть воспитание, правительство и законы приучат людей сдерживать страсти в границах, указанных опытом и разумом, пусть честлюбивый человек, оказывающий пользу отечеству, получает почести, титулы, чины и власть; пусть человеку, любящему богатство, дадут их, если он окажется необходимым для своих сограждан; пусть ободряют похвалами того, кто любит славу; одним словом, пусть будет дана свобода человеческим страстям, если из них получают реальные и длительные выгоды для общества»<sup>2</sup>. То есть надо дать человеку свободу самовыявления, самоутверждения. Это классический пример буржуазной концепции личности, но концепции идеализирующей, являющейся идеологическим выражением интересов революционной буржуазии, поднимавшейся на борьбу с феодально-абсолютистским режимом за свободную, равноправную личность.

По словам Маркса, теория эгоизма и пользы Гольбаха «есть исторически правомерная философская иллюзия насчет

<sup>1</sup> Гельвеций К. А. Об уме. М., 1938. С. 12.

<sup>2</sup> Гольбах П. Система природы. М., 1940. С. 90.

поднимавшейся тогда во Франции буржуазии, чью жажду эксплуатации еще можно было изображать как жажду полного развития индивидов в условиях общения, освобожденных от старых феодальных пут»<sup>3</sup>.

Ввиду своей абстрактности концепция личности просветителей оказалась противоречивой. Считая нормой не абсолютную личную свободу, а согласование частных и общественных интересов, они только в идеале представляли это согласование как гармонию, в практическом же приложении теории единство личного и общего подменялось у них подчинением личного общему. Гельвеций в работе «Об уме», дифференцируя человеческие интересы по трем ступеням: интересы отдельной личности, частного объединения и общества в целом, — безусловно нравственными считает интересы общества, государства. «...Под словом добродетель следует понимать только стремление к всеобщему счастью»<sup>4</sup>. Отношение общества к индивиду поэтому рассматривается как сила принудительная и использующая. «Все искусство законодателя заключается в том, чтобы заставить людей быть справедливыми друг к другу, опираясь на любовь к самим себе... законодатель находит средство принудить людей к добродетельному поведению»<sup>5</sup>. «Любовь к наслаждению является уздой, посредством которой можно направить к общему благу страсти отдельных лиц»<sup>6</sup>.

В работе Гольбаха «Система природы», являющейся вершиной французского материализма XVIII в., это противоречие выражено еще резче. Главное положение его философии — абсолютная детерминированность всех моментов человеческой жизни, отождествление детерминизма с необходимостью, отрицание фактора случайности и свободы воли. Свою систему философ именует фатализмом. Человек, говорит он, «в каждое мгновение своей жизни является пассивным орудием необходимости»<sup>7</sup>. К детерминирующим факторам он относит и природные потребности человека, признавая при этом, что мысль человека часто становится более мощным стимулом к действию, чем инстинкт самосохранения или физическое влечение. Положение о влиянии мысли и воли на человека

---

<sup>3</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 410—411.

<sup>4</sup> Гельвеций К. А. Об уме. С. 79.

<sup>5</sup> Там же, С. 135.

<sup>6</sup> Там же, С. 214.

<sup>7</sup> Гольбах П. Система природы. М., 1940. С. 49.

он переносит на общество и приходит к убеждению, что социально-историческая деятельность людей определяется разумом, политической идеологией. Так фатализм уступает место рационализму. Поэтому Гольбах большее значение, чем Гельвеций, придает нравственному сознанию индивида. Категория долга выступает у него не только в роли внешнего предписания, но и в значении разумного самоограничения, как внутреннее основание морального поведения. Он считает человека способным стать добродетельным в порочном обществе и получать удовлетворение от сознания правоты. Но идеал гражданских добродетелей оказывается у него в противоречии с идеей самоутверждения личности.

В художественной литературе просветителей есть то же противоречие, что и в их философских системах. Они не могли соединить в своем сознании современного буржуа с его пороками и идеал человека. Поэтому реальный человек нового рождающегося буржуазного общества у них выступает то как жанровый персонаж, детерминированный средой, то как добродетельный герой, персонифицирующий идею должного.

Таким образом, этика эгоизма просветителями не была принята безусловно. Когда же теории материалистов социально прояснились у Бенгтама, превратившись в апологию буржуазного утилитаризма, они вызвали реакцию, которая наиболее последовательно проявилась в немецкой идеалистической философии, начиная с Канта и кончая Гегелем.

В основе кантовского учения о морали («Критика практического разума») лежит идея превосходства духовного начала над физическим в человеке. Категорический императив как изначально присущее человеку, идущее от разума повелительное начало, выражающееся в его совести, по теории Канта, освобождает личность от власти своих влечений, интересов и страстей, а также делает ее независимой от диктата общества. В этом учении об автономии морали, с одной стороны, заявляет высокое понимание достоинства человека, его разума и воли, апология его способности противостоять власти внешних обстоятельств, даже непреодолимых. Поэтому учение Канта получило развитие в романтизме и было воспринято многими реалистами, отстаивавшими способность человека к духовной независимости от общества. С другой стороны, этическая теория Канта исходит из недоверия к физической природе человека, в силу чего Гегель считает эту теорию формалистической. Построенная на абсолютизации дуализма

физического и духовного и принципа долженствования, она практически не выполнима и противоречива. Когда философ обращается к государству, он приходит к утверждению абстрактного права как внешнего диктата, сближаясь в этом с Гоббсом, что не соответствует его идее автономии морали.

Гегель в работе «Философия права», положительно оценивая антиутилитарное содержание морали Канта, отвергает независимость морали от требований общества, считая такую автономию выражением индивидуализма. Этика Гегеля ближе всех других домарксовых теорий подходит к пониманию социальной природы морали. Исходным основанием его теории является не изолированный индивид, а личность в обществе. Он расчленяет понятия права, морали и нравственности. Право, считает он, ограничивается отрицательными предписаниями не нарушать интересы людей и существует лишь в форме запретов. Мораль предполагает личное одобрение тех предписаний, которым человек подчиняется. Но обе эти категории односторонни: первая — в силу ее безличности, вторая — ввиду ее субъективности. Истиной обладает только нравственность, которая определяется как «единство субъективного и объективного в себе и для себя сущего добра»<sup>8</sup> и содержит в своей основе согласование личных и общественных интересов.

Однако эта гармония частного и общего признается Гегелем лишь в идеале. В практическом приложении к современной действительности он всегда подчеркивает безусловное превосходство общего, при этом абсолютной истинностью обладает общее, воплощенное в своем высшем выражении — государстве. Понятия добра и счастья для Гегеля неравноценны. «Определения счастья не представляют собой истинных определений свободы, которая истинна для себя только в своей самоцели, в добре» (142). Государство, «абсолютная, неподвижная самоцель», по его словам, «...обладает наивысшей правотой в отношении единичного человека» (263). В системе общего «...индивидуумы суть лишь моменты» (268).

Хотя при этом Гегель оговаривается, что индивидуум должен обладать неким правом, «благодаря которому всеобщее дело становится его собственным, особым делом» (272). В противном случае, считает он, государство «стоит на слабых ногах» (275). Он даже соглашается с утверждением, что

---

<sup>8</sup> Гегель. Соч. М., 1938. Т. 7. С. 177.

«целью государства является счастье граждан» (275). Он допускает и возможность автономии морали для тех эпох, когда общественные нормы нравственности переживают кризис (эпоха Сократа).

Однако интересы индивидуума и его личные убеждения он считает приемлемым лишь до той поры, пока они не вступают в конфликт с государством. В этом последнем случае он их отвергает, утверждая, что они могут иметь только отрицательное, разрушительное содержание, даже если этот конфликт возник закономерно (французская революция). Всеобщее, по Гегелю, существует «в форме законов и основоположений» (155), которые для индивидуума «суть обязанности, сковывающие его волю» (183) и освобождающие его от власти естественных влечений и субъективности.

Поэтому в России 40—50-х годов этика Гегеля воспринималась как учение о диктате общего. Так оценивал ее Белинский в начале 40-х годов после отказа от «идей примирения с действительностью». В 50-е годы интерес к философии Гегеля вообще был утрачен. Отрицательное восприятие этики Гегеля поддерживалось также критикой в сочинениях Фейербаха, который считал ее недостатком то, что она основывалась не на единичном, а на всеобщем, исходила не из интересов конкретного человека, а из идеи человека.

Социалистические теории нравственности и этика Фейербаха строились в полемике с идеалистическими концепциями морали и были развитием учений французских материалистов.

Ш. Фурье в работе «Новый социетарный мир» решительно отвергает дуалистическое понимание человека, антагонизм разума и чувственности и, как просветители XVIII в., реабилитирует физическую природу человека. Хотя французский социалист отрицательно оценивал утилитаризм просветителей и в противовес их защите эгоизма отстаивал принципы социетарности, в понимании человека он в сущности следует за ними. Основу его этической теории составляет апология страстей. Как и французские материалисты, он считает страсти движущей силой прогресса. Страсти человека, считает он, изначальны, они первичны по отношению к разуму. Поэтому будущий социетарный строй должен быть построен на гармонизации разнообразных, даже противоположных страстей. Хотя Фурье и ведет речь об общественном регулировании отношений в новом мире, о тождественности частных и общих интересов, по существу его теория морали индивидуалистична. Основанием гармонического строя французский

социалист считает полное удовлетворение любых человеческих страстей. Категорию долга он вообще отвергает. В новом мире, он убежден, отношения людей будут определяться не обязанностями, а влечениями, которые при коллективной организации труда примут положительное направление (но сущность их и при новом строе не изменится). Человек остается для Фурье индивидуумом, а общество — суммой индивидуумов. Поэтому организация нового строя мыслится им мирным путем посредством вовлечения в ассоциацию людей, способных финансировать эти объединения, пример которых поведет к появлению новых общин, и в итоге весь мир превратится в единый социетарный строй. Фурье разрабатывает приемы заинтересовывания богатых людей для привлечения их в сообщества. Ориентация на использование страстей для преобразования общества побудила Фурье одно время надеяться на участие Наполеона в создании нового строя. Из жажды славы Наполеон, по его расчетам, мог бы стать обновителем мира. Вскоре Фурье разочаровался в нем, но только как в личности, и отнюдь не разуверился в принципе использования для благих целей человеческих страстей.

Этика Фейербаха является демократическим вариантом просветительской теории. Автор «Сущности христианства» также исходит из целостного понимания человека как природного существа, также принимает эгоизм в качестве двигателя человеческой жизни и мерой оценки общества считает интересы индивида. В отличие от Гельвеция и Гольбаха, считавших, что человек по природе не зол и не добр, а становится тем или другим только в обществе, Фейербах убежден в доброй природе человека. Поэтому он не считает эгоизм и любовь к ближнему антагонистическими, верит в их отождествление и отвергает категорию долга. Первоэлементом его философии, однако, является не индивид, а отношения «Я» и «Ты», но это те же природные отношения. Общество он рассматривает как совокупность «туистических» ячеек<sup>9</sup> и все общественные связи сводит к отношениям любви. Так что этика его абстрактна, скроена, по словам Энгельса, для всех времен и народов.

Этическая теория и концепция личности Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова строятся в полемике с идеалистической философией: с дуалистическим пониманием человека и возвышением духовного начала над физическим, материаль-

<sup>9</sup> См.: Быховский Б. Людвиг Фейербах. М., 1967.

ным. Для них человек — абсолютная ценность, а его интересы и потребности — единственный критерий оценки всех явлений действительности. Этим объясняется их ориентация на этические теории французских просветителей и Фейербаха.

В диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и в авторецензии на нее Чернышевский обосновывает свою теорию морали применительно к вопросам литературы. Он ставит действительность выше искусства и считает назначением последнего — служение благу человека, отвергает идею независимости эстетического наслаждения от материальной заинтересованности. В связи с этим он критикует гегелевское понимание возвышенного и трагического, которое рассматривает человека не как самоцель, а как средство в исполнении начертаний абсолютного духа. Чернышевский определяет трагическое как «ужасное в человеческой жизни»<sup>10</sup>, уравнивая при этом великую личность и самого заурядного человека. Другое возражение Чернышевского Гегелю основано на защите права человека активно вмешиваться в общественную жизнь, в то время как Гегель, по его представлениям, исходил из признания законности существующего порядка вещей. Чернышевский связывает возвышенное с героическим. Это — «путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредным, с бедствиями и пороками людей...» (С. 50).

В работе «Антропологический принцип в философии» Чернышевский опирается на общефилософские основания французских материалистов, но полемизирует с некоторыми положениями их эстетической теории. Его понимание человека более социально определено. Он отвергает ту иерархию интересов, которую защищал Гельвеций, отмечая, что отношения в современных государствах антагонистичны и что, если принять предложенную просветителями градацию, это будет означать узаконение существующей практики, при которой интересы самого угнетенного и многочисленного сословия — крестьянства — приносятся в жертву выгодам крепостнического государства. Правящее сословие он уподобляет пиявкам, которые живут только благодаря заботе тех, чью кровь они сосут. Поэтому Чернышевский вслед за Фейербахом отрицает категории долженствования, принуждения. Для него частное и общественное — понятия равноценные. Эти

---

<sup>10</sup> Чернышевский Н. Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1974. Т. 4. С. 38.



мысли высказаны Чернышевским не прямо, а в терминах антропологической философии: «Только то, что составляет натуру человека, что полезно для человека вообще, признается за добро», «сосредоточение в руках отдельных людей» «постороннего самому человеческому организму средства» (богатства и власти) (С. 287, 291) приносит вред зависимым людям. «Натура», «человеческий организм», «человек вообще» — все это имеет в виду человека, не владеющего материальной и политической властью.

Развиваемая Чернышевским концепция «разумного эгоизма» не находится в прямой связи с западноевропейскими теориями морали. Общее в них состоит только в признании законности эгоизма, но само понимание эгоизма у них различно. Французские материалисты, считая, что природное состояние есть борьба частных интересов, лишь в обществе видят возможность регулирования человеческих отношений. Общество, государство они считают силой, обуздывающей природную стихию. Возможность согласования личных и общественных интересов представляют как пассивный результат перестройки общественных отношений. От того, как общество «использует» человеческие страсти, зависит их положительное или отрицательное содержание. Добродетель может восторжествовать при условии, если она будет приносить человеку пользу, а порок исчезнет, когда люди поймут его невыгодность.

Фейербах также видит в эгоизме стихийную силу. Он отвергает своекорыстный эгоизм буржуа и филистера, основанный на сознании своей пользы, вообще отрицает «нравственный эгоизм»<sup>11</sup>. Признает он только стихийный эгоизм, восходящий к инстинкту самосохранения, который, по его убеждению, не препятствует, а содействует любви к ближнему.

Противопоставление «разумного» эгоизма неразумному, стихийному появляется только у русских революционных демократов. Они не обожествляют естественное состояние, как Фейербах, и не рассматривают его как анархию частных интересов, а видят в нем положительные предпосылки, которые должны быть развиты и облагорожены просвещением, коллективным трудом и пробуждением гражданской активности людей. Решающую роль в духовном освобождении человека они отводят саморегулирующей силе разума.

---

<sup>11</sup> Фейербах Л. Избр. филос. произв. М., 1955. Т. 2. С. 546.

Чернышевский доказывает, что разумный эгоист видит свою выгоду в таких действиях, которые приносят не мимолетные, а долговременные удовлетворения и наслаждения, поэтому он предпочитает общественно полезные дела сугубо личным, способен по этим же причинам на самоотверженные поступки. Даже такие, на первый взгляд, чуждые эгоизма деяния, как самоубийство Лукреции, обесчещенной Тарквинием, и жителей Сагунта, не пожелавших попасть в плен Ганнибалу, вызваны сознанием пользы: предпочтением меньшего зла — большему.

На убеждении в способности человека разумно управлять своими интересами и действиями основана и уверенность Чернышевского в том, что освобождение масс от социально-политического гнета есть дело их собственных рук. Об этом Чернышевский говорит иносказательно. Он пишет, что «для улучшения человеческого быта» некоторые средства могут дать производительный труд и развитие естественных наук, «а другие должны быть доставлены рассудительною энергиею самого человека, и ныне только в ее возбуждении могут встречаться трудности по невежеству и апатии одних людей, по расчетливому сопротивлению других и вообще во власти предрассудков над огромным большинством людей в каждом обществе» (С. 259). Здесь идет речь о темноте сознания и общественной пассивности народной массы и сопротивлении власти имущих. В этой связи находится и требование Чернышевского «разобрать законы, по которым действуют сердце и воля» человека и «представления ума», дающие воле способы иметь влияние на судьбы других людей (С. 292), способы воздействия революционной теории на чувства и волю массы.

Этический пафос романа «Что делать?» заключен в защите гражданской активности человека. Система образов в романе основана на противопоставлении «новых людей», способных сознательно строить свою жизнь и противодействовать внешним обстоятельствам, «пошлым людям», целиком подчиненным укладу жизни своей среды и господствующим понятиям. Характеристика каждого из этих персонажей имеет суммарный характер: «Таких жанров тысячи», «...я хорошо знаю таких людей, как ваша мать» (Т. 1. С. 30, 37). Суммарный характер обобщения проявляется в возведении свойств «пошлых» людей к социальной их природе или родовой сущности людей определенного психологического типа: «А жehиh, сообразно своему мундиру и долгу...», «мать в этом слу-

чае представительница света», «для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль...» (45, 64).

В «Похвальном слове Марье Алексеевне» и во втором сне Веры Павловны можно найти прямое сходство с тем, как Гельвеций определяет зависимость нравственности от социальных обстоятельств: «...теперь вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно — стало быть, даже и действовать честно и благородно...» (148).

В изображении же «новых людей» действуют иные принципы. Здесь теория воспитания как воздействия совокупности внешних обстоятельств заменяется теорией самовоспитания. Новые люди — творцы своей судьбы, своего счастья. Они побеждают не только внешние препятствия, но и свои привычки, склонности, если они мешают им в жизни. Способность Веры Павловны к внутреннему сопротивлению обстоятельствам подчеркивается ее сравнением с Настей Крюковой. «Вере Павловне уже раза три случалось видеть такие примеры. Девушки, которые держали себя безукоризненно с тех пор, как начиналось ее знакомство с ними, говорили ей, что прежде, когда-то вели дурную жизнь. На первый раз она была изумлена такую исповедью; но, подумав над нею несколько дней, она рассудила: «А моя жизнь? — грязь, в которой я выросла, ведь тоже была дурна; однако же не пристала ко мне, и остаются чисты от нее тысячи женщин, выросших в семействах не лучше моего» (205).

В изображении Рахметова самовоспитание, способность переделывать себя подчеркивается еще резче. Рахметов в полном смысле слова сотворил себя. Став студентом шестнадцати лет, он сразу же заинтересовался особенно умными людьми среди своих сверстников. Познакомился с Кирсановым, слушал его, начал по его совету читать, и это привело его к «перерождению» в «особенного человека». Рахметов сумел переделать даже свою природу. Будучи человеком физически обыкновенным, он решил стать силачом по примеру бурлака Никитушки Ломова. Он занимался гимнастикой, работал чернорабочим, «стал кормить себя — именно кормить себя — исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу...» (269). Он «имел много приключений, которые *все сам устраивал себе*» (268).

Чернышевский ставит своих героев в ситуации, требующие выбора действий. Психологический анализ в таких случаях обнаруживает их способность свободно принимать решения, не принуждаемые обстоятельствами и диктуемые не стихийными требованиями натуры, а разумом и волей. Так, решение Лопухова устранился из жизни Веры Павловны потребовало от него больших волевых усилий. Но, победив свои чувства, он испытывает удовлетворение, даже наслаждение от сознания своей способности к благородным действиям.

В своем влиянии на других людей герои Чернышевского стремятся прежде всего стимулировать их собственную активность. Кирсанов подводит Катю Полозову к тому, что она сама убеждается в ничтожности Соловцова. А воздействуя на Рахметова, он возбудил у него стремление к самовоспитанию.

По-новому представлено в романе «Что делать?» и отношение морали к обществу. У предшественников Чернышевского автономия морали понималась как индивидуальное противостояние господствующим нормам нравственности. А моральные принципы «новых людей» имеют коллективистский характер. Поэтому они выступают как детерминирующая сила, способная пересоздать общественные нравы.

Н. А. Добролюбов большое значение, чем Чернышевский, придает природным основам нравственности. В основу добролюбовской концепции личности заложено просветительское понимание человека как части природы, высшей ступени ее эволюции и представление о прирожденной склонности человека к добру. Данные положения Добролюбов доказывает, характеризуя психологию детства. В статье «О значении авторитета в воспитании» он говорит о «добрых, святых началах, которые природны ребенку»<sup>12</sup>, возражая против мнения о том, что преобладающим чувством у детей является эгоизм. «Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, — пишет он, — то, по крайней мере, нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего дурного, они хранят в себе святые чувства любви к людям, свободной от всяких житейских предрассудков...». Добролюбов убежден, что ум ребенка обладает боль-

---

<sup>12</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В. 3 т. Т. 1. С. 178. Далее сноски в тексте.

шей ясностью и прямою, чем у взрослого, что ему присущ инстинкт истины, поэтому «...все нелогичности, допускаемые нами, незаметно для нас самих, из деликатного почтения к status quo, упорно не понимаются детьми». Детям чужда отвлеченность, «они не интересуются призраками, которые создали себе люди и которым придают чрезвычайную возможность» (С. 187—188).

В итоге Добролюбов заявляет: «Да, мы должны учиться, смотря на детей, должны сами переродиться, сделаться, как дети, чтобы достигнуть видения истинного добра и правды» (С. 189). И воспитание детей, по его словам, «имеет свою задачу только возбуждение и прояснение в сознании того, что уже живет в душе, только живет жизнью непосредственно, бессознательно и безотчетно» (С. 185).

Если естественные склонности в детстве подавлены, то никакая работа мысли не способна вернуть человека к его первоначальному состоянию. В статье «Когда же придет настоящей день?» Добролюбов приводит такой пример. Человек в детстве отличался необычайной впечатлительностью, чуткостью ко всякой несправедливости. Но затем под влиянием своих наставников он уверовал в ложные понятия: о святости законов, необходимости подчиняться старшим, о том, что человек сам виновен в своих неудачах и бедах. В дальнейшем он понял ложь этих понятий, причем, понял не вследствие каких-то новых влияний, а в силу того, что случай пробудил «живые ощущения в его омертвевшем сердце» (Т. 3. С. 61). Постепенно он осознал, что законы могут быть ложными, подлежащими отмене. Но сначала это новое убеждение воплотилось у него в абстрактные идеалы справедливости. С течением времени ему стало ясно, что не отвлеченные принципы, а счастье человека является основанием общественного блага. Т. е. в итоге долгих блужданий он пришел к тому, что стихийно ощущал в детстве. Теперь эта истина ему понятна, он может ее доказать, но в детстве он чувствовал ее сильнее, она была более связана с его существом, и он тогда мог больше сделать для нее, чем теперь, когда духовные силы его истощились и он уже был способен только к пассивной добродетели.

Апология природного начала в человеке служит Добролюбову основанием для доказательства духовного превосходства крестьянства над господствующим сословием. Жизнь земледельцев ближе к природе, поэтому их духовное состояние более естественно. Рассматривая в статье «Черты для

характеристики русского простонародья» воспитание крестьянских и дворянских детей, критик говорит, что отрицательные влияния, которые испытывают первые, в меньшей степени искажают их натуру. В крестьянине подавлено сознание личности. Но «деспотизм и рабство, — считает Добролюбов, — противные природе человека, никогда не могли достигнуть нормальности, никогда не могли покорить себе ум и совесть человека» (С. 103). Народу, по его словам, присуще понятие о своих естественных правах, восходящее к инстинкту самосохранения. Поэтому в нем всегда живет стремление освободиться от порабощения. Ему свойственно также представление «об обязанностях труда», также имеющее природный источник: «естественную потребность деятельности» (С. 111, 115). И Добролюбов убежден, что крестьяне порабощены только внешне. Раннее приобщение их детей к труду обеспечивает им более нормальное развитие. Сознание же неприкосновенности своей личности рождает у простолюдина уважение к правам других.

А дворянские дети, вырастающие в обстановке праздности и рано усваивающие сословные понятия, извращаются внутренне, и их природные задатки глосуют. Отсюда Добролюбов делает вывод о физическом и духовном вырождении дворянства.

Однако и в культурном обществе Добролюбов считает возможным сохранение «первоначального типа человека», то есть неискаженной натуры. Поэтому примеры идеальной нравственности он находит и в народной среде, и в среде интеллигенции.

Нравственной нормой Добролюбов считает гармоническое сочетание личных интересов, сознания ценности своей индивидуальности и уважения прав и достоинств других людей. Такое духовное содержание критик именует разумным эгоизмом, концепцию которого он развивает в статье «Николай Владимирович Станкевич». Свое понимание эгоизма критик противопоставляет примитивному животному эгоизму, суть которого в «грубых наслаждениях чувственности, в уничтожении пред собою других» (Т. 1. С. 371). Выражение такого животного эгоизма Добролюбов видит и в природных страстях человека. Если французские материалисты и Фурье считали страсти, рожденные потребностями природы, главным двигателем прогресса, то Добролюбов убежден, что в таком состоянии не развиты «истинно человеческие элементы», преобладают «животные потребности» (С. 375). Более полно свое

отношение к страстям Добролюбов высказывает в статье «Черты для характеристики русского простонародья», характеризуя образ Ефима из рассказа Марко Вовчок «Купеческая дочка». Герой рассказа, человек с сильно развитым, но до времени скрытым самолюбием, оскорбленный пренебрежением купеческой дочери, весь сосредоточивается на желании отомстить обидчице. Он добивается ее согласия стать его женой, а затем вымещает на ней всю силу своей оскорбленной гордости, быстро сводит ее в могилу и, похоронив ее, кончает самоубийством. Добролюбов отрицательно оценивает такой характер, сущность которого состоит в поглощенности одной страстью (в данном случае — мстительностью). Он отмечает, что страсть подавила в Ефиме его разум и волю и получила разрушительную направленность. Такая страсть, по его словам, «дика, неразумна, губельна для него самого, но он не силен преодолеть ее влечение, потому что враждебные обстоятельства не дали в нем достаточно развиться гуман-ным и разумным требованиям природы» (Т. 3. С. 146).

Для Добролюбова приемлем лишь такой эгоизм, который развился благодаря совершенствованию человеческого разума до способности видеть «в счастье других собственное счастье» (Т. 1. С. 371).

Добролюбов полемизирует также с тем идущим от Канта пониманием морали, которое во главу угла ставит подчинение естественных влечений человека извне навязанному долгу, требует отречения от личных интересов. По мнению критика, «холодные последователи добродетели, исполняющие предписания долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь к добру», стоят невысоко в нравственном отношении, т. к. «они не в состоянии возвыситься до того, чтобы ощутить в себе самих требования долга и предаться им всем существом своим: они непременно должны иметь на себе какую-нибудь узду» (С. 370). Для Добролюбова такое отношение к долгу есть признак обезличения человека. Истинно нравственному человеку, каким критик считает Станкевича, чуждо раздвоение. «Станкевич, — пишет он, — занимается тем, чем ему хотелось, и говорил о своих занятиях с увлечением. Самоотвержение он понимал как «удовлетворение потребностей сердца, а не как формальное использование какого-то внешнего, сурового предписания» (С. 370).

Защищая Станкевича от поборников идеи отречения, Добролюбов отстаивает «важность естественного, живого, сво-

бодного развития личности». Обращает на себя внимание также то, что в отличие от Чернышевского критик, признавая роль разума в процессе духовного развития человека, основное значение придает интуитивному началу в человеке. Станкевич, говорит он, сливает «требования долга с потребностями внутреннего существа своего», перерабатывает их в «свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивной необходимостью, но и доставляли внутреннее наслаждение» (Т. 1. С. 370). То есть разумные требования не остаются только в сознании человека, а становятся его инстинктивной потребностью. Природное, физическое при этом одухотворяется и освобождается от власти элементарных чувственных влечений. Следовательно, чувственное не подавляется, а преобразуется под влиянием сознания.

В статье «Роберт Овен и его попытки общественных реформ» (1859) Добролюбов раскрывает свою концепцию гармонической личности на примере жизни общественного деятеля. В отличие от Герцена, который в своем очерке об английском социалисте повествует о трагедии этого самоотверженного энтузиаста, не понятого своими современниками, Добролюбов, помимо многих социальных проблем, выделяет мысль Оуэна о том, что он свою жизнь прожил счастливо, хотя дело его жизни и не получило практического осуществления. Он никогда не изменял своим убеждениям, всегда жил в согласии со своей совестью, несмотря на неудачи, не потерял веры в свои идеалы. Он знал высшее счастье, неизвестное людям, полагающим его в преходящих благах житейского благополучия.

В статьях 1860 года, когда на первый план у Добролюбова выдвигается идея революционного действия, происходит переакцентировка в оценке нравственных качеств гармонической личности. Основное значение он теперь придает деятельным способностям человека, готовности к подвигу, вытекающей из нераздельности общего дела и личных интересов. «По нашему мнению, — пишет он, — убеждение и знание тогда и можно считать истинным, когда оно проникло внутрь человека, слилось с его чувством и волею, присутствует в нем постоянно, даже бессознательно... Такое знание, если оно относится к области практической, непременно выразится в действии и не перестанет тревожить человека, пока не будет удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая» (Т. 3. С. 81). Добролюбов приводит пример с



источником, переосмысливая трактовки Гольбаха. В «Системе природы» подобный пример служил доказательству детерминированности любых действий человека. Человек, изнывающий от жажды, видит источник, но узнает, что вода в нем отравлена. Гольбах рассуждает, что человек может победить жажду усилием воли или окажется побежденным неодолимой потребностью организма. В обоих случаях его действия определяются законами природы: в первом случае пересиливает инстинкт жизни, во втором — физические потребности. У Добролюбова человек видит источник, но перед ним колючий кустарник, в котором таятся ядовитые змеи. Человек здесь поставлен в такую ситуацию, когда из двух угрожающих положений он выбирает такое, где он не отдается на волю необходимости, а стремится побороть препятствие: прорваться через кустарник к воде.

Свою мысль о деятельном характере Добролюбов раскрывает на примере образа Инсарова, подчеркивая, что его решимость к борьбе обусловлена тем, что «он никак не может понять себя отдельно от Родины» (Т. 3. С. 47). Рассуждая же о возможности появления русских инсаровых, Добролюбов мотивирует их деятельность принадлежностью к демократической среде, что обеспечивает единство их жизненных целей с интересами трудящейся массы.

В дальнейшем Добролюбов сосредоточивается на героическом народном характере. В связи с этим он переосмысливает свое отношение к эгоизму. В статье «Черты для характеристики русского простонародья» критик предлагает типологию крестьянских характеров, возводя их к двум основным типам: симпатическому и эгоистическому. Он отмечает, что в настоящее время ни в народной, ни в любой другой среде не существует полной гармонии чувств, «слияния самопожертвования с самосохранением». Но эгоизм он уже не считает универсальным психологическим свойством человека, а в сравнении двух типов предпочтение отдает типу альтруистическому. Он отмечает, что в условиях крепостной зависимости оба генеральных психологических свойства в крестьянине искажены: эгоизм приводит к посягательству на права других, а самоотверженность — к покорности и терпению. Но эти свойства порой приобретают и положительную направленность. Чувство личности высказывается в протесте против гнета. Протест может выражаться и в разрушительных формах, в насилиях и преступлениях. Такие энергичные характеры при разумной направленности могут проявиться и в ге-

роических действиях: в воинских подвигах, в спасении людей, погибающих в огне и в воде. Но оптимально человек с эгоистическими наклонностями обычно проявляется лишь в отдельных порывах.

Более привлекательным для Добролюбова является «деликатный характер», относящийся к альтруистическому типу. «В нормальном своем положении, то есть в соединении с энергией характера и с правильно развитым сознанием, такая деликатность составляет одно из высших достоинств человека. В ней соединяются тогда и честность, и справедливость, и деятельное участие в судьбе ближнего» (Т. 3. С. 129—130). В итоге Добролюбов заявляет, что именно таким характерам принадлежит ведущая роль в истории. «Если бы из таких людей состояло большинство, то, конечно, история, не только наша, но и всего человечества, имела бы совсем другой характер» (С. 141).

К таким альтруистическим натурам Добролюбов относит Катерину из драмы Островского «Гроза». Говоря о ее мирном, «любящем», «идеальном» характере, критик подчеркивает в ней «большую готовность все для других, мало заботясь о себе» (С. 205), «...принцип ее, если б она могла сознать и определить его, был бы тот, чтобы как можно менее своей личностью стеснять других людей и тревожить общее течение дел» (Т. 3. С. 205, 208). Но ее альтруизм не есть отречение от собственных интересов: «признавая и уважая стремления других, она требует того же уважения и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно, глубоко» (Т. 3. С. 208). Однако ее протест ни по содержанию, ни по форме не имеет ничего общего с тем, который возбуждается эгоистическими желанием, вроде «выходки» Кудряша против Дикого или намерения Тихона «на целый год отгуляться». Катерина терпит стеснения, касающиеся ее внешней жизни, но восстает, когда окружающие оскорбляют ее идеалы и естественные запросы природы.

В статье Добролюбов особенно решительно подчеркивает значение стихийного, инстинктивного начала в человеке. Он противопоставляет «из глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни» Катерины тому протесту, который порождается идеей, теорией. Идея, которой ее поборники «хотя служить, составляет для них что-то внешнее (...), что они умеют очень легко отделить от своих личных, прямых потребностей» (Т. 3. С. 208. 211). Основа действий героини «Грозы», говорит критик, «надежнее всех

возможных теорий и пафосов, потому что она (...) не зависит от той или другой способности или впечатления (...), а опирается на всей сложности требований организма, на выработке всей натуры человека» (С. 201). Отмечая консерватизм сознания Катерины, Добролюбов пишет, что «теоретическим образом...» она не могла отвергнуть понятий и предрассудков своей среды, «... она пошла против них, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивным сознанием своего прямого, неотъемлемого права на жизнь, счастье, любовь» (Т. 3. С. 209).

Можно сказать, что именно Добролюбову принадлежит заслуга обоснования концепции героического характера, прежде всего, характера народного. Некрасов мог опереться уже на опыт великого критика. Не будет безосновательным и предположение, что Чернышевский в своем романе учитывал опыт Добролюбова. Автор романа «Что делать?» подчеркивает у Веры Павловны страстное, идущее от стихийных требований натуры стремление к свободе и счастью. На этой основе у нее рождается убеждение в необходимости счастья для всех людей. Вера Павловна стихийно приходит к пониманию единства личных и общих интересов и с удивлением узнает, что ее мысли совпадают с теорией Лопухова, обосновывающей эти убеждения научно. Знаменательно и то, что именно Вера Павловна, а не теоретики Лопухов и Кирсанов, практически осуществляет свои убеждения — организует швейные мастерские на коллективных началах.

В образе Рахметова также заметно отражение идей Добролюбова. «Особенный» человек Чернышевского живет и действует под влиянием убеждения, но убеждения сделались у него страстью, проникли в глубь его натуры, став инстинктивной и потому неодолимой потребностью души. В этом образе соединились мысль Чернышевского о направляющей силе разума и положение Добролюбова о значении природных свойств личности. (Говоря о факторах, сформировавших Рахметова, создатель его называет ряд объективных обстоятельств, но на первый план выдвигает роль натуры). В создании образа Рахметова Чернышевский мог опереться и на ту характеристику сильных умов, которую Добролюбов дает в статье о «Грозе»: «Сильные умы именно и отличаются той внутренней силой, которая дает им возможность не поддаваться готовым воззрениям и системам, а самим создавать свои взгляды и выводы, на основании живых впечатлений. Очи ничего не отвергают сначала, но ни перед чем и не оста-

навливаются, а только принимают к сведению и перерабатывают по-своему» (Т. 3, С. 202). Получив первоначальное руководство для своего развития от Кирсанова, Рахметов выбирает собственную систему взглядов. «За несколько времени перед тем, как вышел он из университета... он уже принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни, а когда он возвратился (из путешествия), они уже развились в законченную систему, которой он придерживался неуклонно» (Т. 1, С. 271). Так усилиями двух великих умов создан образ героического энтузиаста, которому суждено было сыграть ни с чем не сравнимую роль в формировании нескольких поколений революционных деятелей.

С. В. СВЕРДЛИНА

### О ЗАМЕТКАХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА СТРАНИЦАХ СОЧИНЕНИЙ МАРКСА

Существуют два диаметрально противоположных мнения об отношении Чернышевского к теории научного социализма и коммунизма. Согласно одному из них, писатель не только был знаком с теорией Маркса, но и едва ли не во всем соглашался с ним. В своих письмах сибирского периода, используя подцензурные приемы, Чернышевский пропагандировал учение Маркса, высоко отзывался о нем.

Согласно другому мнению, Чернышевский не знал теории научного социализма Маркса, он шел к этой теории своим путем. Во второй период жизни писатель вообще не принимал участия в общественной борьбе своего времени. Он не был готов для «серьезного разговора» с великими деятелями эпохи. Старания царизма убить его великий ум увенчались успехом.

То и другое мнения представляются крайностями, с которыми нельзя согласиться.

Теперь нет сомнения в том, что Чернышевский читал Маркса. Известно, например, что он «спорил»<sup>1</sup> о Марксе. Имею в виду недостаточно изученное свидетельство Богдана

---

<sup>1</sup> Евг. Брандис. Марко Вовчок. М., 1968. С. 314.

Марковича, сына Марко Вовчок (М. А. Маркович) в его письме к матери от 12 мая 1887 г. из Астрахани: «Замечательно, что о всех писателях, кроме Спенсера и, отчасти, Маркса, у нас с Чернышевским почти одни мнения»<sup>2</sup>. Народоволец Б. А. Маркович в конце 80-х годов отбывал административную ссылку в Астраханской губернии. Письмо от 12 мая он написал тотчас после встречи с Чернышевским, длившейся несколько часов подряд, под свежим впечатлением от встречи. Маркович — мемуарист очень точный. Однако, когда его переписка с матерью была впервые опубликована в собрании сочинений Марко Вовчка, биограф писательницы усомнился в достоверности свидетельств Марковича. Ему, в частности, показались завышенными оценки творчества самой Марко Вовчка, которые Б. А. Маркович приписывал Чернышевскому. В биографическом очерке, приложенном к собранию сочинений М. А. Маркович, читаем: «Можно думать, что Богдан, агитируя за возобновление литературной деятельности Марко Вовчка, немного преувеличил или прикрасил реплики Чернышевского»<sup>3</sup>.

Но в 1930 г. вышел последний, третий том «Литературно-го наследия» Н. Г. Чернышевского, где была впервые опубликована его переписка 80-х годов. Отзывы писателя стали известны из его же писем. Мемуарные свидетельства Б. А. Марковича полностью подтвердились. Достоверными оказались и зафиксированные им оценки Чернышевским творчества Гл. Успенского, Достоевского<sup>4</sup>.

Существует, как известно, предположение, что в период астраханской ссылки Чернышевский даже «хотел обнародовать критическое исследование о Карле Марксе и «Капитале» и только из боязни, что цензура слишком исковеркает это исследование, ... не выполнил своего намерения»<sup>5</sup>. Это сообщение содержалось в некрологе Чернышевского немецкой

<sup>2</sup> См.: Марко Вовчок. Твори. Киев, 1928. Т. IV. С. 459.

<sup>3</sup> О. Л. Дорошкевич. Марко Вовчок. Биографический очерк//Марко Вовчок. Твори. Киев, 1928. Т. IV. С. 602.

<sup>4</sup> См. об этом подробнее: Свердлина С. В. О литературно-эстетических взглядах Н. Г. Чернышевского 1883—1889 годов//Учен. зап. Астрахань, 1967. Т. XI. Вып. 4; Свердлина С. В. Марко Вовчок и В. Г. Короленко в свете оценки Н. Г. Чернышевского//Классическая литература и современность. Волгоград, 1971.

<sup>5</sup> Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). Статья и публикация Вольфа Дювеля (ГДР)//Лит. наследство. М., 1959. Т. 67. С. 197—198.

рабочей газеты «Der Sozialdemokrat», когда одним из редакторов газеты был Энгельс.

Некролог и приведенные строки в нем тщательно исследованы<sup>6</sup>. Но сейчас интересует другое: он *мог написать* о теории научного коммунизма, об отношении к ней.

Никаких прямых высказываний Чернышевского на этот счет пока не обнаружено. Вместе с тем, устанавливается традиция находить результаты знакомства русского революционного писателя с трудами основоположника научного коммунизма, и в частности с «Капиталом», в статьях, художественных произведениях и письмах Чернышевского, главным образом, сибирского периода его жизни<sup>7</sup>.

Для подтверждения факта знакомства Чернышевского с трудами Маркса ссылаются обычно на воспоминания товарищей писателя по сибирской каторге. Но суть этих мемуарных свидетельств, как правило, обходят. Не потому ли, что она, во всяком случае на первый взгляд, представляется безапелляционно негативной по смыслу.

Конечно, следует согласиться с тем, что «мемуары не вполне надежный источник»<sup>8</sup>. Однако мемуары мемуарам — рознь, и совершенно не принимать во внимание свидетельства мемуаристов просто невозможно.

В воспоминаниях каракозовца П. Ф. Николаева записано, что на книге Маркса «К критике политической экономии» после прочтения ее Чернышевским он видел «собственноручную надпись» писателя: «революция в розовой водиче». И затем приводятся «объяснения» мемуариста относительно причин «такой резкой надписи»: «...Я полагаю, — пишет Николаев, — что Чернышевскому, как защитнику интересов всего пролетариата и пролетаризируемого крестьянства, именно эволюция-то и закономерное развитие капитализма, неизбеж-

---

<sup>6</sup> Травушкин Н. С. Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978. С. 313—331.

<sup>7</sup> См., напр.: Корочкин В. М. Был ли знаком Н. Г. Чернышевский с «Капиталом»//Вопросы истории. 1968. № 3; Полевой Ю. З. Маркс и Чернышевский//История СССР. 1978. № 5; Макаров И. Г. Материалы о К. Марксе и Ф. Энгельсе в Вилуйской библиотеке Н. Г. Чернышевского. Якутск, 1974; Корочкин В. М. Об оценке Н. Г. Чернышевским «Капитала» К. Маркса//Вопросы истории. 1980. № 3 и др.

<sup>8</sup> Полевой Ю. З. Указ соч. С. 55; подробнее — Травушкин Н. С. Указ. соч. 313.

но приводящее к Zusammenbruch'у <к разрушению> и представлялось розовой водицей революции»<sup>9</sup>.

Бывший землевладелец С. Г. Стахевич, встречавшийся с Чернышевским в Тобольске и Александровском заводе, друживший с писателем, в своих воспоминаниях свидетельствует, что видел карандашную «надпись» на прочитанном Чернышевским томе «Капитала»: «пустословие в социальном духе». При этом, правда, Стахевич выражает сомнение, принадлежит ли она Чернышевскому: «Этих слов Николай Гаврилович не говорил мне. Возможно, что пренебрежительную надпись сделал не он, а кто-нибудь из обитателей «полицей» или же литератор Михайлов, находившийся в Кадае рядом с ним»<sup>10</sup>.

Исследователи, высоко оценивая мемуарные свидетельства Стахевича и Николаева, категорически отрицают самую возможность принадлежности Чернышевскому приведенных надписей<sup>11</sup>.

Теперь рассмотрим, сочетаются ли приписываемые Чернышевскому отзывы о Марксе с общей системой идейно-философских, общественно-политических взглядов писателя во второй период жизни, каков их смысл в свете этой системы, и, следовательно, выясним, насколько они достоверны.

В 70—80-е годы Чернышевский полагал, что русский народ, все русское общество в целом не подготовлено к свершению революции, что революция в России произойдет не скоро — таков горький урок, вынесенный писателем из событий первой русской революционной ситуации. Чернышевский считал, что единственный путь к революции — это длительное и настойчивое просвещение масс, просвещение в самом широком смысле. Только просвещенные массы, просвещенное общество сможет подняться на свершение революции. В противном случае деятели прогресса, революционные демократы не будут поняты, не будут поддержаны массами<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959. Т. 2. С. 164.

<sup>10</sup> Там же. С. 84. «Полицией» называли тюрьму «Александровского завода, в которой содержались арестанты в первое время пребывания на каторге».

<sup>11</sup> Там же. С. 152.

<sup>12</sup> О политической и общественной программе Н. Г. Чернышевского во второй период жизни см.: Лебедев А. Герои Чернышевского. М., 1962; Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? — М., 1976; Сverdлина С. В. Забытые страницы//История

Чернышевский даже полагал, что русский народ настолько далек от идеи революции, что он, революционер, — чужой своему народу. Отсюда горькое признание Вязовского (прообразом которого, согласно указанию Чернышевского, является он сам) в повести «Вечера у княгини Старобельской: «Я люблю мою Родину, но жизнь сделала меня чужим ей»... «Я люблю мой народ, но я чужд ему...» (XIII, 846).

В 80-е годы, когда он возвратился в европейскую Россию и приобрел относительную свободу, он пропагандировал идеалы революционной демократии 60-х годов, творчество своих единомышленников — Добролюбова, Некрасова, творчество писателей, близких революционной демократии, — Марко Вовчок, Панаевой, Мачтета. Выступал за союз с «честными богатыми и знатными людьми» (XIII, 851; XV, 786). Правда, это «плохие союзники» (I, 729), однако в трудные годы реакции контакт с ними необходим — они тоже могут способствовать прогрессу общества.

Важное значение Чернышевский придавал и нравственно-психологическому воспитанию человека. Людям нужны не только правильные идейные, но и честные нравственные понятия. Характерны в этом отношении рассуждения в автобиографических заметках писателя, где речь идет о том, как люди из добрых побуждений, просто по мещанскому тупому довели врача Ивана Яковлевича до самоубийства (I, 613).

Нравственное воспитание человечества — давняя цель, исполнение программы, намеченной Чернышевским еще в Петропавловской крепости, когда он собирался стать «добрым учителем людей» (XIV, 456).

Воспитанию местных нравственных понятий должно было способствовать художественное творчество писателя. Есть основания утверждать, что после возвращения из ссылки Чернышевский уже не смотрел столь оптимально на процесс изменения человеческого сознания, как в молодые годы: «Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер» (IV, 288). Теперь, по-видимому, Чернышевский подходит к этому вопросу

---

СССР. 1969. № 1; Н. А. Добролюбов как прообраз положительного героя-демократа//Вестник Москов. ун-та. Серия «Филология». 1970. № 6; П. Г. Чернышевский и Шарль Летуэрно//В сб.: Освободительное движение в России. Саратов, 1979. Вып. 9.



иначе: сначала надо просветлить ум человека, а потом, в итоге, изменять обстоятельства.

Главный герой романа «Отблески сияния» Владимир Васильевич, наделенный многими автобиографическими чертами, так оценивает события Парижской коммуны, в которых принимал участие: «...Я полагаю, что люди прогрессивных убеждений вредят делу прогресса, если предпринимают что-нибудь не одобряемое общественным мнением» (XIII, 755). Иначе говоря, общественное мнение надо подготовить к изменению обстоятельств.

Заветной мечтой Чернышевского в свете задач просвещения общества стала борьба за почетный орган «своего направления» (письмо от 29 августа 1888 г. М. А. Антоновичу — XV, 743—744). Отсюда его интерес к редактору газеты «Астраханский листок» Рослякову, а позднее — к вновь организуемой газете «Астраханский вестник». Возможно даже, что Росляков пытался привлечь Чернышевского к сотрудничеству в «Астраханском листке», чтобы поднять престиж газеты. Но Чернышевский этого предложения не принял, хотя оно и отвечало его заветным стремлениям. Оно было слишком опасным в 1887 г., преждевременным для писателя, находившегося под надзором полиции, да и не выполнимым в цензурном отношении. Однако отказавшись от сотрудничества, Чернышевский пытался, хотя и неудачно, повлиять на редактора «Астраханского листка» Рослякова и на направление газеты в целом<sup>13</sup>. Скорее всего, по его совету и при его содействии стал сотрудничать в «Астраханском вестнике», первый номер которого вышел в апреле 1889 года, Богдан Маркович. А потом, уже после смерти Чернышевского, Маркович, как известно, стал редактором газеты «Саратовский дневник». В бытность Марковича редактором «Саратовский дневник» терпит цензурные притеснения, «не раз получает предупреждения»<sup>14</sup>.

В беседах с молодежью Чернышевский завуалированно пропагандировал свою тактику революционной борьбы. Особенно настойчиво он выступал против народофильского террора. Умудренный жизненным опытом, предупреждал против опасности преждевременного революционного высту-

---

<sup>13</sup> См.: Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 263.

<sup>14</sup> Евг. Брандис. Указ. соч. С. 309.

пления<sup>15</sup>. Такое выступление, в представлении Чернышевского, — насилие над сознанием народа, которое к нему не готово. Оно не будет поддержано массами и потому не может дать положительного результата. Неумело помогать народу — только вредить делу. Таков смысл и воспроизведенной в воспоминаниях писателя Е. Чирикова притчи, которую Чернышевский рассказал в редакции «Астраханского вестника», о том, как в молодости он решил помочь мужику-дворнику, несущему вязанку дров. Но от этой помощи «рассыпались дрова-то, а дворник меня стал ругать...»<sup>16</sup>.

В пьесе «Мастерица варить кашу» один из героев, Клементьев, ученый молодой «человек без особенного звания и состояния», проводит мысль о том, что ученым людям бесполезно придумывать, как изменить жизнь народа. Они (ученые) давно знают, что нужно: «Давно все известно. Но что мы будем делать, что мы можем сделать, когда народ не хочет того, что...» (XIII, 578). Фраза обрывается, надо полагать, на словах «что мы хотим».

Революция, по Чернышевскому, должна стать кровавым делом самих масс. Эту мысль он стремился внушить русскому обществу еще в 60-е годы. Так, в одном из политических обзоров «Современника» (1859 г., № 8), объясняя неудачу итальянских патриотов в борьбе против австрийского владычества, Чернышевский пророчески писал: в Италии «действовали образованные сословия да некоторые классы горожан», иначе говоря, действовала «горсть образованных людей, не позаботившихся поставить за собой массу народа против сотен тысяч штыков — чего тут ждать для этих образованных людей и их стремлений? Они должны погибнуть, они сами себя обрекли на темницы, на изгнание, на ссылку, плаху и виселицу, став против страшной физической силы армий без опоры на еще более страшную силу массы» (VI, 370). Не случайно эти строки не были пропущены цензурой.

Особенно настойчиво, хотя и в более завуалированной форме, эту мысль Чернышевский повторял в последний период жизни. В статье «Общий характер элементов, производящих прогресс», приложенной к переводу т. X «Всеобщей

---

<sup>15</sup> Свердлина С. В. Воспоминания Н. Ф. Скорикова о Н. Г. Чернышевском // Методические указания к курсу «Литературное краеведение». Астрахань, 1971. Вып. IX.

<sup>16</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 394.

истории» Г. Вебера, он писал: «...Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, желаем добра массе наших соплеменников, имеющей дурные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию — дело совершенно неуместное. ...Не насилие против простонародья или какого другого класса наций тут нужно, а содействие исполнению всеобщего желания» (X, 915—916).

Та же мысль реализована в автографе, подаренном Чернышевским астраханскому учителю Н. Ф. Скорикову. Этот автограф представляет собой не вновь найденный текст<sup>17</sup>, а несколько сокращенный и, так сказать, адаптированный, но по сути тот же текст из статьи «Общий характер элементов, производящих прогресс».

Г. В. Плеханов в книге о Чернышевском (1909 г.), приведя те же строки из данной статьи, обращается затем к сравнению, которое, по его мнению, «можно сказать, напрашивается само собой». «Написанный Марксом устав Интернационала начинается тем знаменитым положением, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Это, если хотите, та же мысль, которую защищает Чернышевский»<sup>18</sup>.

Итак, Чернышевский разделял ведущее положение основоположников марксизма о том, что освобождение трудящихся масс должно стать делом самих масс.

Однако работу по просвещению общества, по воспитанию общественного сознания, в том числе и политического, Чернышевский отделял от законов общественно-экономического развития, от законов развития производительных сил, а вместе с ними и производственных отношений, развития, которое как раз и обуславливает уровень общественного сознания. Общественное сознание было, в его представлении, первичным, а общественное бытие вторичным. Оставаясь «на уровне цельного философского материализма»<sup>19</sup> в объяснении законов развития природы, Чернышевский не поднялся до этого уровня в объяснении законов общественного развития. Здесь он остался идеалистом-просветителем.

---

<sup>17</sup> См.: Травушкин Н. С. Указ. соч. С. 296—297.

<sup>18</sup> Плеханов Г. В. Избр. философ. произв. М., 1958. Т. IV. С. 330.

<sup>19</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 384.

Чернышевский связывал грядущую революцию не с прогрессом способа производства, а с прогрессом в умах людей. Поэтому ему казалась иллюзорной мысль Маркса о том, что «развитие экономической общественной формации... естественно-исторический процесс», что «капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание»<sup>20</sup>.

Маркс таким образом утверждал, что развитие производительных сил неизбежно придет в противоречие с существующими производственными отношениями и в конце концов — к революции, утверждал «неизбежное завоевание политической власти рабочим классом». Но Маркс, как известно, не ждал, что «завтра произойдет чудо»<sup>21</sup>, т. е. не полагал, что политическая, воспитательная работа в массах не нужна, что не нужна каждодневная борьба за интересы и права трудящихся. А Чернышевский, если судить по воспоминаниям Стахевича и Николаева, воспринимал теорию Маркса в том смысле, что революционерам ничего не нужно делать, воспринимал ее как отказ от борьбы, от воспитания сознательности и организованности в революционном классе. Если революция все равно, неизбежно произойдет, вследствие объективных законов общественного развития, то революционерам, по «Капиталу» Маркса (в истолковании его Чернышевским), можно сидеть сложа руки и ждать, когда произойдет «чудо»<sup>22</sup>.

В воспоминаниях С. Г. Стахевича отзыву Чернышевского о теории Маркса предшествует рассказ о том, как писатель «одобрительно» отозвался о его (Стахевича) убеждении в необходимости «всеми средствами» действовать «на почву», т. е. на народ, общество, «чтобы она (почва) сделалась непригодною для дурмана и благоприятною для растений других пород»<sup>23</sup>. С. Г. Стахевич приводит такое высказывание Чернышевского: «Действовать на почву непременно следует;

---

<sup>20</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 10, 773.

<sup>21</sup> Там же. С. 499, 11.

<sup>22</sup> Отметим, что данное положение теории Маркса аналогичным образом воспринимали и другие русские прогрессивные деятели, не перешагнувшие, однако, границы исторического идеализма/см.: Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х — начала 80-х годов XIX века. М., 1979. С. 277—289; Короленко В. Г. О сложности жизни/Из полемики с «марксизмом»//Короленко В. Г. Полн. собр. соч. СПб. 1914. Т. 5. С. 343—357.

<sup>23</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 75.

это хорошо, полезно, необходимо; главное, не надо поддаваться квиетизму, т. е. спокойному, мистически-созерцательному отношению к жизни<sup>24</sup>, — все, дескать, делается силами природы и истории, от нас не требуется никаких усилий и борьбы. Как это можно! Без усилий и без борьбы не получим никогда ничего»<sup>25</sup>. Здесь опять-таки явный намек на Маркса, который будто бы полагал, что производительные силы в ходе общественного развития неизбежно, если даже не вести просветительскую, агитационную работу в массах, «без усилий и без борьбы» придут в противоречие с существующими производственными отношениями и произойдет революция.

В приведенном свидетельстве Стахевича не приходится сомневаться. Авторитетность его высказываний признана исследователями<sup>26</sup>.

Итак, П. Ф. Николаев и С. Г. Стахевич одинаково восприняли рассуждения Чернышевского о Марксе. Их свидетельства равнозначны по смыслу. Отсюда представляется, что выражения «революция в розовой водичке» (т. е. в розовом свете, легко осуществимая) и близкое ему по смыслу «пустословие в социальном духе» (т. е. бесполезные рассуждения в социальном духе — о том, что все делается само собой) могли принадлежать Чернышевскому. Они вполне сочетаются с системой его идейно-философских, общественно-политических взглядов 1870—80-х годов. Что же касается резкости суждений, то она вообще ему присуща в последний период жизни. Она получила отражение в его эпистолярном наследии, а также зафиксирована многими мемуаристами (напр., XIV, 526, 540; XV, 193, 687, 761)<sup>27</sup>.

Полемику Чернышевского с Марксом можно усмотреть также в его высказываниях о роли честных богатых и знатных людей в обществе. В «Капитале» Чернышевский мог прочитать о том, что даже если те или иные капиталисты или помещики субъективно, индивидуально — хорошие люди, то все равно они вынужденно ответственны за происходящее,

---

<sup>24</sup> Толковый словарь русского языка/Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1.

<sup>25</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 75—76.

<sup>26</sup> См.: Там же. С. 54.

<sup>27</sup> См. об этом в нашей статье «О литературно-эстетических взглядах».

потому что «отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно». Маркс писал: «Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов»<sup>28</sup>.

Возможно, Чернышевский с его теорией привлечения честных богатых и знатных людей к движению за общественный прогресс посчитал необходимым, несмотря на существенную оговорку Маркса, вступить за «плохих союзников».

Наконец, еще одно положение. Маркс, Энгельс, а позднее Ленин были убеждены в том, что в 80-е гг. центр мирового революционного движения переместился в Россию, потому что нигде так не были сильны социальные противоречия, противоречия между богатством и бедностью, роскошью и нищетой, как в России, и судьбы русской революции неизбежно будут иметь мировое значение. В 1882 г. Маркс и Энгельс в Предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» утверждали, что «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе»; в период второй русской революционной ситуации они допускали и такую возможность, что «русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга...»<sup>29</sup>.

В. И. Ленин считал, что рабочие массы России уже в конце 80-х гг. были способны воспринимать революционные идеи, революционно-просветительскую пропаганду<sup>30</sup>. Просвещенность в широком смысле и политическая сознательность — это, в общем, не одно и то же.

А Чернышевский в последний период жизни не расставался со своими старыми надеждами, что революционная волна распространится на Россию с Запада, потому что на Западе сосредоточен центр образованности и просвещения, и в связи с этим находил, что его сочинения не следует писать на русском языке. В своем «Ответе критику статьи» «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» Чернышев-

---

<sup>28</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 10.

<sup>29</sup> Там же. Т. 19. С. 305.

<sup>30</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 267, 268.

ский, например, рассуждал так: «Вы русский? — Я тоже русский. — Вы любите русскую литературу? — Что ж, быть может, и я не имею ненависти к русскому языку. Но каковы ни были наши чувства, мы, вероятно, сойдемся с вами во мнении, что споры об основных вопросах науки ведутся должным образом не в русской литературе. Вероятно, мы с вами одинаково думаем, что более удобными органами их служат языки французский, английский и немецкий. Моя статья написана на русском языке. Уж за одно это следует назвать меня человеком, не поступившим так, как было надобно» (XVI, 497). Аналогичные мысли находим также в письме к В. А. Гольцеву от 19 августа 1888 г. (XV, 737—738). В «Ответе критику...» Чернышевский высказывался и в том смысле, что в России нет условий для открытого утверждения своих убеждений (XVI, 497).

Надежды писателя на Запад скорее всего были связаны с широким распространением и признанием на Западе его сочинений. Он не мог не знать об этом<sup>31</sup>. Чернышевского на Западе читали и понимали, следовательно, Запад, по мысли Чернышевского, был более просвещен, чем Россия, и там, стало быть, были ближе к цели.

В. М. Корочкин высказал предположение, что мнение Чернышевского о «Капитале» выражено в письмах его к сыновьям в марте — апреле 1878 г., и это мнение безоговорочно положительное. Автор исходит из того, что Чернышевский не мог писать о Ньюtone и Лапласе, о математике и астрономии, как это кажется непредупрежденному читателю этих писем, потому что не знал астрономию и математику. Он мог писать только о политэкономии, которой занимался. Поэтому «вполне возможно, что в данном случае Чернышевский использовал конспиративный прием подстановки фамилий», т. е. называл Ньютона и Лапласа, а имел в виду Маркса и Энгельса<sup>32</sup>.

Как ни заманчива эта гипотеза, она представляется нереальной. Система доказательств, применяемая автором гипотезы, не согласуется с присущей Чернышевскому логикой мысли. Чернышевскому, вопреки предположению В. М. Корочкина, было свойственно рассуждать так: да, он, Черны-

<sup>31</sup> См.: Травушкин Н. С. Что знал Чернышевский о своей международной известности/В сб.: Вопросы биографии Н. Г. Чернышевского. Волгоград, 1979. С. 29—35.

<sup>32</sup> Вопросы истории. 1980. № 3, С. 182.

шевский, конечно не великий ученый, более того — не специалист, скажем, в области математики и астрономии, но он умеет разобраться в вопросе о том, «прав ли Ньютон» (XV, 166), не хуже тех своих современников, которых считают специалистами. «Он решил, — пишет о себе Чернышевский в письме к сыновьям от 1 марта 1878 г. — Он знает по данному предмету очень мало. Но оказалось, что он, — он, — знает несравненно больше, нежели необходимо для легкого и безусловно правильного решения дела. ...Оказалось: для решения дела нужна лишь таблица умножения (т. е. «дело» решается очень легко. С. С.). И перед таким-то «вопросом», — вот уже два столетия, — в недоумении отступает громадное большинство астрономов, то есть математиков...» (XV, 166—167).

Не следует воспринимать буквально заявлений Чернышевского о том, что он чего-то не читал. Он, например, уверял, что «Достоевского читать не может»<sup>33</sup>, Гл. Успенского — не хочет (XV, 458), что не читал Ш. Летурно, которого советовал переводить Б. Марковичу (XV, 677), и даже — Добролюбова (XV, 139). А. А. Токарский, с которым Чернышевский встречался в последние месяцы жизни в Саратове, в связи с этим вспоминал: «...скажет бывало: «Я теперь никаких книг не читаю...». А в дальнейшем разговоре он, ничего не читавший, добьет тебя цитатой из писателя, которого ты очень внимательно читал»<sup>34</sup>.

Наконец, отметим, что Чернышевский писал о Ньютоне и Лапласе в сопоставлении с современными учеными до марта — апреля 1878 г., т. е. еще до писем, на которые обратил внимание В. М. Корочкин. Так, 19 октября 1876 г. в письме, адресованном Ольге Сократовне, но предназначенном для старшего сына Александра, Чернышевский отрицательно отзываясь об ученых-математиках Петербургского университета, у которых занимается сын и трудами которых увлечен: «все они люди мелкого ученого сорта», «следует бросить под

<sup>33</sup> Марко Вовчок. Твори. Т. IV. С. 459.

<sup>34</sup> Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 336—337. Впрочем, какие-то книги Чернышевский, действительно, мог не читать. И не только потому, что всего прочесть невозможно. Здесь еще необходимо иметь в виду, так сказать, «интеллектуальный» ригоризм Рахметова, которому, конечно, был не чужд и сам Чернышевский. Но эта избирательность в отношении книг для чтения все же не могла относиться к тому интересному и талантливому, что появлялось в современной ему литературе и критике.



стол лекции и книжонки этих мелких ученых» (XIV, 690)<sup>35</sup>. Вместо них Чернышевский советует сыну заняться трудами Ньютона и Лапласа: «Я в математике невежда и не знаю, кто из нынешних математиков заслуживает имени серьезно-го, великого ученого, но из людей, о которых я слыхивал в мою молодость, целою головою выше всех новых ученых по математике был Лаплас (новыми я называю всех, являвшихся после Ньютона). Труды Ньютона, быть может, уж имеют лишь историческое значение. Но Лаплас, я полагаю, остается и до сих пор наилучшим руководителем человека, желающего дельно заниматься математикой. — Важно не то, что какие-нибудь мелочи у Лапласа устарели; важен дух серьезности и дельности, проникающей все его работы, важна ясность и сила мысли его» (XIV, 690).

Трудно в этом более раннем письме заподозрить какой-либо иносказательный смысл, какую-либо «подстановку фамилий». Не остается сомнений и в том, что Чернышевский имел в виду именно Ньютона и Лапласа.

Вместе с тем, в приведенных строках письма от 19 октября 1876 года заключено конспективное изложение того, что позднее в более развернутом виде будет передано в письмах от марта — апреля 1878 года<sup>36</sup>.

В письмах 1878 г. Чернышевский также отрицательно, действительно иронически, отзывается о «новейших Ньютонах», т. е. о современных физиках и математиках, которые дороги его старшему сыну Александру. Чернышевский шутивно советует труды «новейших Ньютонов» теперь не просто «бросить под стол», но порвать на куски, измять, а полученную массу использовать в качестве «душевной корпии», т. е. перевязки для сердца Александра, истерзанного его, Н. Г. Чернышевского, нападка на этих «новейших Ньютонов» (XV, 216).

---

<sup>35</sup> Об А. Н. Чернышевском см.: Чернышевская Н. М. Старший сын Чернышевского (публикация В. С. Чернышевской)//Русская литература. 1977. № 2.

<sup>36</sup> Вообще повторяемость сюжетов была свойственна письмам Чернышевского периода каторги и ссылки. Он не раз, например, обращался к своим автобиографическим запискам о старине, к воспоминаниям о Добролюбове и Некрасове, к историческим заметкам о борьбе пап с императорами, но каждый раз подавал материал в более расширенном, законченном виде. Следует полагать, это была своеобразная, вынужденная форма работы над будущими мемуарами и статьями.

Приведенные выше строки из письма Чернышевского от 19 октября 1876 г. опровергают и ту мысль В. М. Корочкина, что у Чернышевского Ньютон якобы подвел «законы под выводы Лапласа»<sup>37</sup>, хотя Лаплас жил после Ньютона. В действительности, никакой инверсии в хронологии у Чернышевского нет. Он строго придерживается истинного соотношения фактов — Лаплас жил «после Ньютона» (XIV, 690). В том же письме к сыновьям от 9 февраля 1878 года из Вилюйска, на которое ссылается В. М. Корочкин, читаем: «Достоверность выводов Лапласа основана на формуле, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы» (XV, 132). Это нельзя понять иначе, как то, что выводы Лапласа основаны на формуле Ньютона. «Итак, я не знаю, что и в каком тоне говорил Лаплас о Ньютоновой гипотезе (выделено мною — С. С.), — читаем в письме от 1 марта 1878 года — «...Я знаю это по делам его. Вся его деятельность: безусловное признание Ньютоновой гипотезы за совершенно несомненную истину» (XV, 171).

Таким образом, строить свою гипотезу об иносказательности, о подстановке фамилий в письмах Чернышевского сибирского периода нет оснований.

Конечно, борьбе вокруг учений Ньютона и Лапласа Чернышевский мог придать не только конкретный, но и обобщающий, иносказательный смысл, наподобие того, как в работе о Лессинге или в рассуждениях о Фейербахе в предисловии к III изданию «Эстетических отношений...» Чернышевский имел в виду не только Лессинга и Фейербаха, но и себя самого, свои понятия, свою жизненную ситуацию. Однако, в частности, в письмах его к сыновьям от марта — апреля 1878 г. нет никаких оснований видеть «оценку теоретическим проблемам, изложенным в «Капитале»<sup>38</sup>. И в письме от 8 марта 1878 года речь идет не вообще о «науке общественной»<sup>39</sup>, как утверждает В. М. Корочкин, а «о естествознании, просвещающем разум людей и дающем руке человека силу работать с успехом для устройства жизни безбедной, мирной и честной» (XV, 199). Чернышевский и здесь развивает свои излюбленные мысли о прогрессе просвещения, который в конце концов ускорит процесс восприятия революционных идей обществом. Об этом он писал еще в 1861 г., например, в зна-

<sup>37</sup> Корочкин В. М. Указ. статья. С. 183.

<sup>38</sup> Там же. С. 184.

<sup>39</sup> Там же. С. 182.

менитой своей статье «О причинах падения Рима» (См.: VII, 645).

Напомним, что сам Чернышевский предостерегал своих будущих комментаторов от предвзятого толкования им написанного. «Одно из наших желаний — то, — читаем в письме от 6 апреля 1878 года, — чтобы другие думали одинаково с нами; и в особенности те люди, мнение которых важно для нас. И вот очень многие, когда читают что-нибудь написанное каким-нибудь человеком, по их мнению, авторитетным, влагают в его слова такой смысл, какой нравится им. Я от этой слабости свободен» (XV, 259—260).

Таким образом, необходимо признать, что Чернышевский в последний период жизни, несмотря на отдельные гениальные догадки в материалистическом духе, оставался идеалистом в объяснении законов общественного развития, и потому критически отнесся к учению Маркса.

Вместе с тем, он высоко ценил Маркса, с удовлетворением воспринимал высокую оценку своей деятельности в его трудах. Эта высокая оценка ему известна. Скорее всего связаны с мнением Чернышевского, а быть может, и от него исходят, такие строки в прошении младшего сына писателя Михаила Николаевича к царю Александру III от 5 ноября 1885 года: «...В специальных книгах было и справедливое признание ученых заслуг отца в политической экономии; ...немецкий (уже умерший) известный экономист Маркс, пользуясь материалами для своего труда «Капитал» из «Примечаний к Миллю», не однажды выражается о моем отце как о великом ученом»<sup>40</sup>.

Здесь следует иметь в виду, что Чернышевский в 80-е гг. ни от кого никаких похвал (как и порицаний) не принимал. Считал их для себя унижительными, справедливо полагая, что судить о его работах в России в ту пору было некому (XV, 738, 773, 774; XIII, 853), во всяком случае, в том либеральном окружении, с которым только и приходилось иметь дело опальному писателю в последние годы жизни. Так что в приведенных строках прошения, бесспорно, — признание авторитета и дань уважения Карлу Марксу.

Что же касается критического восприятия Чернышевским учения Маркса, то это несколько не «унижает» Чернышевского.

---

<sup>40</sup> Цит. по.: Травушкин Н. С. Чернышевский в годы каторги и ссылки. С. 183.

Критическое восприятие Чернышевским Маркса исторически обусловлено. Нельзя забывать ленинского положения о том, что «марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий...»<sup>41</sup>.

Последней предмарксистской вехой на этом выстраданном пути и были беззаветные искания Чернышевского.

Н. А. ВЕРДЕРЕВСКАЯ

### ЕЩЕ РАЗ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ И Ж. САНД

Интерес Н. Г. Чернышевского к творчеству Жорж Санд и влияние романов писательницы на произведения, прежде всего на «Что делать?», — проблема отнюдь не новая. Ей посвящена известная работа А. П. Скафтымова «Чернышевский и Жорж Санд», относящаяся еще к 1928 году<sup>1</sup>.

А. П. Скафтымов подробно рассматривает высказывания Н. Г. Чернышевского о Жорж Санд, начиная с юношеского дневника; исследует внутренние связи романа «Что делать?» с романом «Жак», причем останавливается как на близости (общей идее, расстановке образов, сходстве отдельных сюжетных ситуаций), так и на существенных различиях в обрисовке характеров, взаимоотношений, общей тональности произведений. Анализирует перевод биографии французской писательницы, над которым Чернышевский работал в 1855—1856 годах (перевод был опубликован в «Современнике» за 1855 год, а переложение дальнейших глав биографии — в том же журнале за 1856 год).

Попытаемся решить весьма скромную задачу: дополнить материалы, собранные и систематизированные А. П. Скафтымовым, теми, которые по каким-то причинам (субъектив-

<sup>41</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 8.

<sup>1</sup> Скафтымов А. П. Чернышевский и Жорж Санд//Н. Г. Чернышевский: 1828—1928. Незданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. См. также: Скафтымов А. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958.

ного или объективного характера — сейчас судить трудно) остались вне поля зрения и в научный обиход не вошли.

Такой материал содержит, в частности, роман Чернышевского «Повести в повести», пролежавший в бумагах III отделения и опубликованный только в 1930 году. К анализу этого романа Скафтымов обратился значительно позднее, в 1939 году, в работе «Художественные произведения Н. Г. Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости»<sup>2</sup>, — в ней, естественно, разговора о Жорж Санд не было. Между тем в романе «Повести в повести», многие страницы которого посвящены «женскому вопросу», имя Жорж Санд упоминается неоднократно.

Снова, как и в дневнике, Чернышевский ставит здесь Жорж Санд в один ряд с Гоголем и Диккенсом — писателями, которым в мировой литературе, по мысли Чернышевского, нет или почти нет равных: «Кто хочет судить о талантах новых писателей, тому очень полезно хорошенько вчитываться во всякие, какие ему доступны, книги гениальных писателей — Гоголя, Диккенса, Жорж Занда» (XII, 344).

Имя Жорж Санд появляется в романе и в связи с его героями. Юмористический характер принимает вольное переложение повести «Домашний секретарь» в главе «Обидчивый пуританин»: оно вложено в уста старика Остапенко, добровольного «стража морали». Еще более важным для авторского замысла является обращение к тексту романа «Лелия». Дело в том, что композиционным стержнем «Повестей в повести» является история Лизаветы Сергеевны Крыловой: именно вокруг нее группируются в романе все остальные образы и к ней стягиваются сюжетные линии. Лизавета Сергеевна — инициатор создания коллективной рукописи «История белого пеньюара»; она же главный ее автор, пользующийся возможностью сказать о себе.

В центре «Истории белого пеньюара» — история разрыва Лизаветы Сергеевны с мужем, любимым ею и любящим ее. Причиной разрыва послужила прежде всего взаимная недоговоренность: молодая женщина, впервые столкнувшись со сложностью и противоречивостью действительной жизни, подошла к ней с мерками наивных, идеализированных поня-

---

<sup>2</sup> Скафтымов А. П. Художественные произведения Н. Г. Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости//Н. Г. Чернышевский. Сб. статей. Саратов, 1939.

тий о людях и их взаимоотношениях. Слова мужа «я увлекался многими, но полюбил первую тебя» она восприняла с наивностью ребенка; и потому потрясена, когда узнает, что у мужа до встречи с нею была связь с неизвестной ей дамой из общества. Лизавета Сергеевна уходит от мужа; только через несколько лет она понимает, что была неправа, что сама погубила свое счастье.

Но в то же время разрыв Лизаветы Сергеевны с мужем — не детский каприз, не просто результат взаимной недоговоренности: он свидетельствует о ее стремительном росте как личности, как человека. «Я была девчонка, которая ничего не понимает, потому что не знает ничего дельного, кроме хозяйства: ни истории, ни порядочных путешествий, ни даже порядочных романов. Dumas-règne казался мне занимательнее всех на свете» (XII, 231). Теперь же в ее душе пробуждается чувство собственного достоинства, «дурочка» превращается в мыслящую женщину. Момент этого перехода улавливается Чернышевским. Лизавета Сергеевна в одиночестве пытается заняться чтением. Она берет один за другим самые легкие, самые смешные романы, прежде любимые ею, но глаза только небрежно скользят по странице, и она отбрасывает книги одну за другой. «И вдруг мне вспомнилась одна сцена, — первая сцена книги, которую начала было я читать вместе с мужем, по его желанню, и которую попросила его бросить: так скучна показалась она мне, — за неделю, за две до этого дня. Теперь мне почувствовалось что-то родное в этой сцене, я схватила «Лелию» и начала перечитывать: да, это родное мне теперь; я жадно впиалась в эти страницы и чем дальше читала, тем яснее мне делалось: это родное мне; это не только родное мне, — это почти я сама... я заснула, повторяя гимн Лелии: «На реках Вавилонских сидели мы и плакали... мы не будем вам петь песен любви... мы отрекаемся от любви... мы не можем любить вас... убейте нас, или мы сами умрем, но мы не можем любить вас: вы гнусны, вы гадки нам...» (XII, 251—252).

С точки зрения подхода к проблеме женской эмансипации «Повести в повести» — самый «жоржзандовский» из всех романов Чернышевского. Автор требует в нем полной свободы для женщин в области интимных чувств и отношений, полного равенства между ней и мужчиной там, где это касается моральных оценок поведения. «Перед порядочным человеком женщина не имеет надобности оправдываться ни в чем таком, что не бесчестно для мужчины», — скажет он впоследствии

в «Прологе». В «Повестях в повести» та же мысль выражена с большей резкостью и эмоциональностью: «Что-нибудь одно: извинительно или нет; смешно или нет; для нас и для них одинаково», — возмущенно восклицает Крылова (XII, 364). И в своем монологе «Родившись девочкой, я родилась человеком» (XII, 447—448) она отстаивает это полное равенство.

Некоторые существенные дополнения по теме «Чернышевский и Жорж Санд» необходимы и при рассмотрении романа «Что делать?».

А. П. Скафтымов сопоставляет «Что делать?» только с одним из произведений Жорж Санд — романом «Жак». Между тем есть еще по крайней мере два произведения французской писательницы, сопоставимых с романом Чернышевского и, возможно, оказавших на него известное влияние как в частности, так и в общем его замысле.

Один из эпизодов романа «Что делать?» — объяснение Рахметова с молодой вдовой, во время которого герой отказывается от личного счастья, от близости с любимой женщиной, — находит близкую параллель в начальной сцене романа Жорж Санд «Мельник из Анжибо»: объяснении Анри Лемора и его возлюбленной маркизы де Бланшмон<sup>3</sup>. И хотя речь идет всего об одном эпизоде, следует учитывать, какое важное место в романе Чернышевского он занимает.

Менее определены, но гораздо более важны и для замысла, и для всей системы построения «Что делать?» те внутренние связи, которые, по нашему мнению, существуют между ним и романом «Графиня Рудольштадт», в отличие от многих других романов Жорж Санд малоизвестным русскому читателю. Он был переведен на русский язык впервые только в 1897 году и с тех пор до последнего времени не издавался. Между тем Чернышевский не просто знал этот роман: он (в подлиннике) был в числе книг, которыми Чернышевский пользовался в крепости и которые хотел иметь в своем распоряжении в Сибири. В письме Пыпину перед отправкой на каторгу (май 1864 года) он пишет: «Эти книги, против которых проведена черта, перешли мне при случае, милый Сашенька; остальные не нужны» (XIV, 483). Далее в

---

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: Вердеревская Н. А. Сюжетная ситуация «человек на rendez-vous» в художественном творчестве Н. Г. Чернышевского//Н. Г. Чернышевский. История. Философия. Литература. Саратов, 1982.

письме идет «список книг, находящихся у Н. Чернышевского»; среди них, в числе отчеркнутых, — три книги Жорж Санд, в их числе *La comtesse de Rudolstadt*, два тома.

«Графиня Рудольштадт» — вторая часть дилогии, первой частью которой является хорошо знакомая русскому читателю «Консуэло». В ней рассказывается о дальнейшей судьбе Консуэло и о таинственном и грозном сообществе Невидимых, членом которого она в конце романа и становится. Рука об руку со своим мужем Альбертом, который не погиб, а живет и действует, являясь активным членом союза Невидимых, Консуэло готова вступить на трудный путь борьбы и страдания во имя грядущего счастья, во имя Свободы, Равенства и Братства всех людей.

«...Мы — опора, семья и живой закон всякого свободного существа»<sup>4</sup> — говорят о себе Невидимые. «...У нас нет ни господ, ни слуг, ни подданных, ни монархов» (289). «Узнай же заранее три слова, которые являются ключом ко всем нашим тайнам... *Свобода, братство, равенство* — такова тайная и глубокая формула учения Невидимых» (339).

«Счастлирое детство наивных верований, сказочное утро священных заговоров, которые во все эпохи окутывала дымка тайны, туман поэтической недостоверности», — пишет Жорж Санд (434). «...Французская революция уже бродила, как вино, во мраке и созревала под землей. Она вынашивалась в умах верящих до фанатизма людей как мечта о всемирной революции» (435). «...Проекты переустройства мира... помогали отдельным группам людей необыкновенных создавать в своем воображении представление о будущем обществе» (435).

Сам тип героя и особенно героини в «Графине Рудольштадт» внутренне близок Чернышевскому. Деятельная, мужественная, умеющая и любящая трудиться Консуэло гораздо ближе к «новым людям», чем легкомысленная и слабая Фернанда; более того — чем все остальные героини Жорж Санд. Альберт Ливерани, лишенный того мистического ореола, который окружал его в «Консуэло»<sup>5</sup>, в свою очередь, близок

---

<sup>4</sup> Жорж Санд. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1973. Т. 6. С. 285. Далее страницы указываются в тексте.

<sup>5</sup> Принято считать, что в «Графине Рудольштадт» писательница отдала дань мистицизму. На самом деле таинственные, необъяснимые логически события «Консуэло» именно в этом романе получают сугубо рационалистическое истолкование.



«новым людям» Чернышевского, чего не скажешь о философствующем пессимисте Жаке. Это люди, предчувствующие будущее и работающие во имя его. «К счастью, каждое столетие видит будущее все более величественным, ибо каждое столетие создает все больше тружеников, способствующих его торжеству» (436).

Вспомним у Чернышевского: «То, что мы показали тебе, нескоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений прежде, чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений: моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом... Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести...» (XI, 283—284).

Сама сюжетная ситуация, легшая в основу «Графини Рудольштадт», в некоторых отношениях перекликается с «Что делать?».

Консуэло вышла замуж, питая к Альберту чувства уважения и признательности, из чувства долга, но не по велению сердца (конец «Консуэло»). Она считает его мертвым. Во время своего побега из королевского замка-тюрьмы она встречает человека, которого знает под именем Ливерани. В ее душе вспыхивает любовь — неизмеримо более сильная, чем все, что она когда-либо чувствовала по отношению к мужу. Это новое чувство становится для нее источником радости и страдания.

«— Ты, стало быть, не любила того, кто был твоим супругом?

— Я любила его как сестра. Я сделала все, что в моих силах, чтобы полюбить его любовью.

— И не смогла?

— Теперь, когда я знаю, что значит любить, могу ответить — нет».

Так отвечает Консуэло женщине из числа Невидимых (как потом выясняется, Ванде, матери Альберта). И слышит: «Не упрекай себя — нельзя любить против воли» (308).

Консуэло — человек долга. Узнав, что Альберт жив, она всеми силами стремится подавить в своем сердце новое чувство. Она избегает встреч с Ливерани. В минуту испытания перед лицом всех Невидимых она отказывается от Ливерани, от любви и личного счастья.

«Позвольте мне бежать от обманчивой и преступной ил-

люзии счастья. Дайте мне работу, тяжелую, утомительную, дайте мне боль и вдохновение!..» (432).

Но и Невидимые, и Альберт считают, что ситуация может быть разрешена только на основе свободного выбора женщины. Любовь — великая сила, способная разорвать узы брака, любовь — чудо, и закон в это чудо вмешиваться не может. Брак, не основанный на любви, — это «святотатство, утвержденное общественными законами». Более того: сама мысль о нерасторжимости брачных уз неприемлема с нравственной точки зрения, ибо на практике именно она способна «уничтожить доверие между супругами и охладить их пыл». Законы о нерасторжимости брака — ловушки, «которые люди расставляют вокруг брака с целью сделать его могилой любви, счастья и добродетели, сделать его *узаконенной проституцией*» (444).

«Разве мы не должны подавлять в себе подобные ощущения силой воли?» — спрашивает Консуэло и получает ответ: «По какому праву? Разве бог внул их напрасно? Разве он позволил тебе отречься от твоего пола и принести, состоя в браке, обет девственности или еще более отвратительный и унижительный обет — обет рабской зависимости? В пассивности рабства есть нечто напоминающее холодность и тупую покорность проституции... Там, где нет этой взаимности, там нет равенства, а где нарушено равенство, нет и настоящего союза» (349).

Нет необходимости доказывать, насколько эта позиция близка автору романа «Что делать?»<sup>6</sup>.

И, наконец, есть еще одна точка соприкосновения романов: прославление любви как великого чуда, как основы будущего мира Красоты и Справедливости.

У Жорж Санд этим гимном любви завершается монолог Ванды:

«О любовь, о священный огонь, такой могучий и такой изменчивый, такой внезапный и такой мимолетный!.. Но пока что ты раскрыла нам свою сущность лишь сквозь туман наших заблуждений и не пожелала поселиться среди нас, ибо не пожелала быть оскверненной. Ты вернешься и останешься навсегда в нашем земном раю, как в сказочные време-

---

<sup>6</sup> Следует отметить, что конфликтная ситуация разрешается в этом романе Жорж Санд иначе, чем в «Жаке» и в «Что делать?». Оказывается, что Ливерани и есть Альберт, не узнавший героиней, и Консуэло может примирить требования нравственного долга и голос чувства.

на Астреи, как в мечтах поэтов, вернешься тогда, когда своими высокими добродетелями мы заслужим присутствие такой гостьи. О, сколь сладостно будет тогда жить на этой земле и как радостно будет родиться на ней. Когда все мы станем сестрами и братьями, когда союзы будут заключаться добровольно и основой их будешь только ты одна...» (445—446).

Любовь, таким образом, по мысли Жорж Санд, пока лишь редкая гостья на земле, но она будет господствовать в мире будущего, где все станут сестрами и братьями. Сам мир будущего Жорж Санд не рисует: для этого ее утопические взгляды слишком расплывчаты и неопределенны.

«Четвертый сон Веры Павловны» — величественная картина будущего общества социальной справедливости, каким его видит мыслитель и революционер Чернышевский. Машины, облегчающие труд человека; плодородная земля на месте бывшей пустыни; хрустальные дворцы в зелени садов; необыкновенный расцвет талантов. Над всем этим царит — и это очень важно для Чернышевского — Светлая красавица, сестра Невесты-Революции. Кто же она такая?

«Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой я являюсь, мое имя — ее имя... Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима». «Во мне ты видишь себя такой, какую видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобой» (XI, 275).

Светлая красавица Чернышевского — олицетворение любви, основанной на свободе и равноправии. До ее появления женщина «слишком мало знала, что такое любовь». Воля Светлой красавицы — это полная свобода живого человеческого чувства, не стесненная рамками закона или насильственного принуждения. Но царство Светлой красавицы — не прошлое, не настоящее, а будущее. «...Я еще не могу высказать всю мою волю всем. Я скажу ее всем, когда мое царство будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны телом и чисты сердцем, тогда я открою им всю свою красоту» (XI, 276).

Общество будущего, созданное Старшей сестрой, Невестой-Революцией, и есть то время, когда люди стали прекрасны телом и чисты сердцем. Здесь царствует любовь. Говоря о любви, Чернышевский имеет в виду не только общеэтическое понятие, подобное Добру или Справедливости, но именно любовь мужчины и женщины, заключающих свободный союз. «Я царствую здесь. Здесь все для меня!» — говорит

Светлая красавица, и Старшая сестра подтверждает: «В моей сестре, царице, высшее счастье жизни» (XI, 283).

Это прославление любви как высшего счастья жизни для рационалиста Чернышевского даже несколько неожиданно; но оно есть в «Что делать?», и параллели между четвертым сном Веры Павловны и монологом Ванды в романе Жорж Санд прослеживаются отчетливо.

Таким образом, внутренние связи «Что делать?» с произведениями Жорж Санд не ограничиваются одним романом «Жак». Связи эти определяются и высокой оценкой, которую Чернышевский дает творчеству французской писательницы, и близостью авторских установок в той области, где речь идет о положении и правах женщины. Разумеется, сказанное несколько не ставит под сомнение оригинальность и самобытность знаменитого романа Чернышевского, содержание которого отнюдь не исчерпывается «женским вопросом», а структура не имеет аналогов не только среди произведений Жорж Санд, но во всей предшествовавшей и современной ему литературе.

**М. В. ТЕПЛИНСКИЙ**

### **ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»**

А. В. Луначарский назвал «Что делать?» прекрасным образцом интеллектуального романа<sup>1</sup>. И действительно, могущество мысли определяет не только основную концепцию автора, действия героев, сюжетно-композиционное построение, но и самый стиль «Что делать?», повествовательную манеру. В этой связи особо хотелось бы отметить богатство литературных реминисценций, что дает возможность, в частности, лучше уяснить позицию автора в литературной борьбе эпохи.

Герои «Что делать?» помещены в подчеркнуто высокую и напряженную интеллектуальную атмосферу. Весь текст романа буквально насыщен откликами на общественно-политические проблемы современности: литературными отзывами, прямыми или скрытыми ссылками на конкретные имена и

---

<sup>1</sup> Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957. С. 244.

произведения, упоминаниями ученых, научных опытов, тенденций развития науки, культуры, искусства. Уже на первых страницах иронически воспроизводятся споры прогрессистов и консерваторов, далее звучит французская песенка, идут рассуждения об «эффектностях манеры повествования» и т. д. Особую важность приобретают высказывания автора и самих героев романа о литературе, их эстетические вкусы, оценки и т. д.

Включение в текст художественного произведения конкретного литературного имени (произведения) обладает большим эстетическим воздействием. Во-первых, это очень яркая, предельно конкретная примета времени, культуры, быта. Во-вторых, это дает четкое представление о наиболее популярных явлениях литературы в определенной среде у определенных читателей (что представляет немалый интерес при историко-функциональном изучении литературы). Наконец, литературные вкусы являются отличным средством характеристики персонажей<sup>2</sup>.

На протяжении всего романа Чернышевский последовательно выступает противником либерально-дворянской литературы и столь же горячим защитником литературы демократической. Понятно, что историко-литературная концепция Чернышевского не всегда совпадает с принятой нашим советским литературоведением. В данном случае важнее подчеркнуть убежденность Чернышевского (как и других революционных демократов), что перспективы развития русской литературы связаны прежде всего с молодым поколением писателей-демократов — наследников Гоголя. Так, в начале романа в разговоре с «добрейшей публикой» Чернышевский решительно противопоставляет свое произведение прославленным сочинениям «твоих знаменитых писателей» (14)<sup>3</sup>. Вполне вероятно, что в данном случае имеются в виду Тургенев и Гончаров<sup>4</sup>. Это предположение можно сделать на основании варианта предисловия к «Повести в повести» (работа

---

<sup>2</sup> Наблюдения над «кругом чтения» некоторых литературных героев см. в кн.: Западов А., Соколова Е. Недочитанные строки. М., 1979. См. также: Левидов А. М. Автор — образ — читатель. М., 1977. С. 312.

<sup>3</sup> Роман цитируется по изданию: Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., 1975 («Литературные памятники»).

<sup>4</sup> См.: Верховский Г. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Ярославль, 1959. С. 11—13.

над предисловием шла вскоре после окончания романа «Что делать?»). Упомянув там Диккенса, Жорж Санда, Филдинга, Руссо, Чернышевский писал: «То люди не чета нашим Пушкиным, не то что нашим Тургеневым и Гончаровым» (XII, 682).

В черновом автографе «Что делать?», поднимая вопрос об условиях художественности, Чернышевский писал: «...разве нужно было выводить особенного человека затем, чтоб он сказал свое мнение о действующих лицах? Это, может быть, делают твои великие художники, — я не знаю, — а у меня все-таки побольше смысла в голове и побольше понимания условий художественности. Я так не сделаю, чтоб родить на свет божий дармоеда только затем, чтоб он говорил» (596). Не следует ли видеть в этих словах прямой намек на роман Гончарова «Обломов»? <sup>5</sup>

В начале романа «Что делать?» Верочка, захваченная новыми идеями и мыслями и пытаясь разобраться в них, обращается за помощью и подсказкой к художественной литературе, — но и там не находит ответа на волнующие ее вопросы: «Ведь вот Жорж Санд — такая добрая, благонравная, — а у ней все это только мечты! Или наши — нет, у наших уж вовсе ничего этого нет» (59).

Естественно, возникает вопрос: о каких это наших писателях думает Верочка, кого именно имеет в виду? Судя по всему, речь может идти только о представителях либерально-дворянского лагеря в литературе, которых Чернышевский после окончательного размежевания либералов и демократов числил своими идеологическими противниками.

Очевидно, в этом же плане следует расшифровать и такое авторское разъяснение (оно несколько ранее сопровождало слова Жюли): «Главное уже сказала Жюли (точно читала она русские романы, которые все об этом упоминают!): сопротивление разжигает охоту» (36). Конечно, и в данном случае необходимы конкретизация и уточнение: иначе возникнет ошибочное представление о сугубо ироническом отноше-

---

<sup>5</sup> В вариантах повести «История одной девушки» Чернышевский, говоря о роли критики в истолковании литературных произведений, писал: «Не каждый умеет написать то, что хочет; иной, например, восхищается лежанием на боку; разберешь его панегирик заспанному ленивцу, и публика, и сам он увидит, что тунеядство и сон не особенная добродетель...» К этой фразе Чернышевский сделал примечание: «Само собою, это место, относящееся к Обломову и статье Добролюбова о нем, должно выбросить, если автор Обломова ведет себя честно» (XIII, 872).

нии Чернышевского ко всем русским романистам. Между тем, речь явно идет о пушкинском направлении в литературе (как оно тогда называлось), а язвительные слова о том, что «сопротивление разжигает», едва ли не прямо имели в виду «Евгения Онегина».

И пушкинская и тем более предпушкинская эпохи в литературе представлялись Чернышевскому давно прошедшими и потерявшими всякий интерес и актуальность. Именно поэтому имя Жуковского возникает в романе лишь потому, что вспоминалась лошадь по кличке «Громобой», а это, в свою очередь, вызывало язвительное замечание Чернышевского о «старом времени»: «тогда еще были в ходу у барышень, а от них отчасти и между господами кавалерами, военными и статскими, баллады Жуковского» (309).

Что же касается Пушкина, то упоминания о нем в романе носили неизменно или прямо отрицательный, или иронический характер. Достаточно вспомнить весьма характерный в этом отношении эпизод из третьего сна Веры Павловны: как известно, ей снилось, что Бозио поет романс Глинки «Адель» на слова Пушкина. Вера Павловна думает во сне: «Но какие же смешные слова, и откуда она выкопала такие пошлые стишки?» (171). В черновом автографе после этих слов шел еще и такой текст: «а еще говорят — не устарел Пушкин» (542).

Француженка Жюли знает о Пушкине только то, что он написал о женских ножках (повторяя тем самым одно из наиболее распространенных обвинений в адрес поэта, бытовавшее среди радикальной молодежи)<sup>6</sup>. Впрочем, она путает его при этом с Карамзиным. Аристократ Серж, казалось бы, совершенно далекий от «новых людей», по отношению к Пушкину оказывается с ними совершенно солидарным. Поправляя Жюли, он говорит: «О ножках сказал Пушкин, — его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены» (23, 367).

Приписывая подобные суждения Сержу, Чернышевский, очевидно, хотел подчеркнуть, что скептическое мнение о Пушкине не является специфической особенностью восприятия его творчества только у «новых людей», но отражает уже широ-

---

<sup>6</sup> Ср., например, ироническое суждение Писарева о стремлении Пушкина приписать даже волнам «любовь к женщине вообще или к ее ногам в особенности» /Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 311.

ко распространенную точку зрения, бытовавшую даже и в той среде, где вращался Серж.

Вопрос об отношении революционных демократов к Пушкину достаточно сложен. Он был уже не один раз предметом специального изучения<sup>7</sup>. Ясно, что в статьях и отзывах Чернышевского, Добролюбова, Писарева проявлялись те характерные для передовой разночинной молодежи 1860-х годов антиэстетические и антипушкинские настроения, которые явственно отразились, например, в речах героя романа Тургенева «Отцы и дети». Чернышевский еще в 1855 году удивлялся, что «очень многие, даже из молодого поколения, не понимают еще, почему же Пушкин принадлежит уже прошедшей эпохе, почему он не может быть признан корифеем и современной русской литературы?» (II, 505). И тут же Чернышевский писал о необходимости понимать значение Лермонтова и Гоголя для развития русской литературы. Такова была концепция автора «Что делать?». Не удивительно, что она отразилась и в его романе. В противоположность Пушкину, имя Гоголя там упоминается с подчеркнутым уважением. Чернышевский специально обращает внимание на историческое место Гоголя в развитии демократической литературы.

В романе приводится следующее суждение Рахметова: «По каждому предмету капитальных сочинений очень немного; во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их; всякое другое чтение — только напрасная трата времени. Берем русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю всего прежде Гоголя. В тысячах других повестей я уже вижу по пяти строкам с пяти разных страниц, что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя,—зачем я стану их читать?» (207—208). Характерно, что для Рахметова именно Гоголь (а не Пушкин!) является автором тех капитальных сочинений, которые определяют собою все дальнейшее развитие русской литературы.

---

<sup>7</sup> См., напр.: Егоров Б. Ф. О некоторых особенностях высказываний Добролюбова о Пушкине//Пушкинский сборник. Псков, 1962; Конкин С. С. Пушкин в критике Писарева//Русская литература. 1972. № 4; Макаровская Г. В. Пушкин в оценке Чернышевского: Проблема историзма в литературно-критической концепции Чернышевского середины 50-х годов//Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы. Изд-во Саратов. ун-та, 1978. Вып. 8.



И в авторском отступлении об идиллии в качестве примера приводится опять-таки Гоголь: «Ведь и «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Москва, 1861 г.» вещь невозможная для десяти человек, а для всей публики очень возможная и недорогая, как всем известно» (167). Пример очень показательный. По глубокому убеждению Чернышевского, сочинения Гоголя столь важны для читающей публики, что массовое издание их становится делом не только литературной, но и общественной важности. А пока не осуществилось, пока, например, 2-я часть «Мертвых душ» «не была напечатана для всей публики, только немногие, особенно усердные любители Гоголя изготовляли, не жалея труда для себя, рукописные экземпляры ее» (167).

Оставляем в стороне проблему эзопова языка Чернышевского, революционное значение его мыслей о необходимости и возможности осуществления идиллий, вполне достижимых, если они будут устроены для всех. Для нас существенно то, что для подтверждения своих самых заветных идей Чернышевский использует пример, связанный с сочинениями любимого писателя.

Рядом с Гоголем Чернышевский часто упоминает имя Лермонтова. Объявляя Пушкина устаревшим, он писал о новой эпохе, «первыми представителями которой были Лермонтов и, особенно, Гоголь» (II, 516). Вполне закономерно поэтому упоминание стихов Лермонтова на страницах романа «Что делать?»<sup>8</sup>.

Естественно, что и в дальнейшем развитии русской литературы Чернышевский поддерживает так называемое гоголевское направление. Поэтому и в тексте его романа удостоены положительных упоминаний и цитирования только те русские писатели и поэты, которых можно было отнести к наследникам гоголевских традиций.

В черновом автографе романа были названы имена тех, кого Чернышевский хотел прямо противопоставить отвергаемой им литературной традиции: «...Мой рассказ ...слишком слаб сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, например, с «Мещанским счастьем», «Молотовым», с маленькими пьесками г. Успенско-

---

<sup>8</sup> В Петропавловской крепости Чернышевский специально подсчитывал сколько стихов Лермонтова и Некрасова он знает наизусть, какие следовало бы выучить и т. д./См.: Пер пер М. Чернышевский над страницами Лермонтова и Некрасова//Русская литература. 1960. № 2.

го, — но ведь ты, моя добрейшая публика, еще не разобрала, что эти вещи разнятся, как небо от земли, от восхищающих тебя сочинений прославленных твоих художников...» (356—357).

Правда, в окончательном тексте конкретные имена названы не были; там осталось лишь упоминание о произведениях «людей, действительно одаренных талантом» (14). О ком же могли в таком случае прежде всего вспомнить читатели, какие ассоциации у них могли возникнуть? Нам кажется, что прежде всего читатели могли вспомнить писателя, имя которого в романе Чернышевского никак не могло быть названо — имя Герцена. Ориентация на Герцена в романе Чернышевского ощущается вполне отчетливо. Сигналом в этом отношении было уже само название «Что делать?», сразу же вызывающее в памяти роман Герцена «Кто виноват?». Но дело не только в названии. Можно было заметить и определенное сходство в структуре произведений: ведущая роль автора-повествователя, принципы изображения некоторых действующих лиц. Характерна одна принципиальная особенность изображения Герценом отрицательных персонажей, отмеченная еще Белинским: «Выводимые им на сцену лица — люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его лиц, которые отталкивают от себя низостью чувств и гадостью поступков, представляются автором больше как жертвы собственного невежества и той среды, в которой они живут, нежели их злой природы»<sup>9</sup>.

Легко заметить, что суждения великого критика разительного напоминают принципы, которые применил Чернышевский при изображении Марьи Алексеевны. Можно вспомнить даже некоторое текстуальное сходство. Жизнь Веры Павловны в родительском доме до замужества порою очень напоминает описанные в романе Герцена отношения Варвары Карповны (Вавы), дочери дубасовского уездного предводителя, и ее матери — Марии Степановны.

Самое же главное заключается в том, что романы Герцена и Чернышевского объединяет «могущество мысли», которое, по убеждению Белинского, может быть главной силой

---

<sup>9</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 3. С. 811.

таланта, причем такой талант так же естественен и закономерен, как и чисто художественный.

В литературоведении не отмечена еще одна литературная реминисценция, связывающая роман Чернышевского с художественным творчеством Достоевского. Существует мнение, что «поэтика Чернышевского почти никогда не соприкасается с поэтикой Достоевского. Это писатели резко противоположные, даже полярные»<sup>10</sup>. Такой вывод представляется излишне категоричным. Чернышевский не прошел мимо некоторых особенностей повествовательной манеры Достоевского. В романе «Кто виноват?» внимание Чернышевского привлекла организация художественного материала, в частности, структурообразующая роль образа автора-повествователя, в этом отношении поучительным для автора «Что делать?» оказался и опыт Достоевского. Остановимся на повести «Дядюшкин сон», опубликованный в 1859 г., выделяя в ней образ хроникера-рассказчика и его характеристику главного действующего лица повести — Марьи Александровны.

Разумеется, тут многое идет от Гоголя, от его лукавого повествователя, ярко проявившегося, например, в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:

«Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме...»<sup>11</sup>.

Легко заметить, что название одного из разделов в романе «Что делать?» («Похвальное слово Марье Алексеевне») прямо восходит к тексту «Дядюшкиного сна». Симптоматично так почти полное совпадение имен и отчеств героинь Достоевского и Чернышевского, отчасти совпадает изображение угнетенного положения молодых героинь в семье, планы маменек относительно выгодного замужества — и т. д. Вряд ли можно воспринимать все это как результат случайных совпадений. Скорее всего мы имеем дело с дальнейшим развитием гоголевских традиций, с разработкой, в частности, особого повествовательного приема — открытого введения в текст фигуры рассказчика. Правда, у Чернышевского автор-повествователь становится более определенным в сюжете и

---

<sup>10</sup> Туниманов В. А. Чернышевский и Достоевский // Н. Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979. С. 188.

<sup>11</sup> Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 2. С. 9.

выполняет более важные идейно-художественные функции<sup>12</sup>.

Наряду с литературными ассоциациями, рассчитанными в той или иной мере на читательскую догадливость и компетентность, в романе Чернышевского содержались цитаты более точные, порою с прямым указанием автора. Принципиальное значение в данном случае приобретают ссылки на произведения Некрасова<sup>13</sup>.

Значение Некрасова и его стихов для жизни и творчества Чернышевского хорошо известно. Сам Чернышевский достаточно подробно рассказал об этом в своих воспоминаниях и многочисленных письмах. Цитаты из стихов Некрасова, упоминания о поэте характерны для всех художественных произведений Чернышевского, написанных в Петропавловской крепости, но особенно важны и значительны они в «Что делать?». Некрасовские стихи способствовали восприятию самого романа в определенном литературном контексте. Цитаты из произведений Некрасова и ссылки нужны были Чернышевскому не просто для утверждения своих революционно-демократических идей: они использовались также и для раскрытия литературной и общественной позиции героев романа. Так, весьма существенным является эпизод, в котором Вера Павловна (еще до знакомства с Лопуховым!) поет романс «Тройка» на слова Некрасова. Перед нами яркий пример многозначного использования некрасовского текста. Ограниченность сознания Марьи Алексеевны и вместе с тем

---

<sup>12</sup> См.: Теплинский М. В. Автор-повествователь в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»//Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы. Изд-во Саратов. ун-та. 1978. Вып. 8. Показательно, что Достоевский в своем последующем творчестве усиливает роль рассказчика. Это проявляется в «Идиоте» и «Бесах». В общей форме это обстоятельство было отмечено в книге М. Т. Пинаева «Н. Г. Чернышевский. Художественное творчество» (М., 1984. С. 213). Более конкретные наблюдения содержатся в статье В. А. Туниманова «Рассказчик в «Бесах» Достоевского»: «Уже в «Идиоте» проявляются видимое и решительное расширение авторских прав и, как следствие этого, усложнение структуры образа рассказчика, обилие различных оттенков и модуляций в голосе повествователя наряду с заявленным отказом от всеведения и всезнания» (Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972. С. 196). Возможно, что в данном случае уже Достоевский учитывал опыт Чернышевского, проявившийся в его романе «Что делать?»

<sup>13</sup> См.: Медведева Л. П. Поэзия Некрасова в беллетристике Чернышевского//Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1958. Вып. 1. С. 214—533.

наивное убеждение в собственной хитрости и проницательности приводят ее к очередной ошибке: она воспринимает «Тройку» в полном соответствии с собственными надеждами так: «эта песня хороша: девушка засмотрелась на офицера» (27). Между тем, читатель, знакомый уже с положением Веры Павловны в семье, легко догадывается, что для Верочки смысл стихов Некрасова иной: жадное стремление вырваться на широкую дорогу жизни. Тем самым некрасовская «Тройка» становится важным структурным элементом сюжетного развития романа, помогая понять логику дальнейшей эволюции образа Веры Павловны.

Стихи Некрасова дают ясное представление о том, что «новые люди» принимают в русской литературе, какие тенденции поддерживают и воспринимают как нечто органически близкое им. Произведения великого поэта, проникнутые подлинным демократизмом и пробуждающие волю читателя к революционному переустройству общества, были важны для Чернышевского как пример боевого революционного искусства. В поэзии Некрасова он искал поддержку своей позиции; для него Некрасов союзник не в общественно-политическом только плане, но и в той эстетической полемике, которую Чернышевский настойчиво вел на страницах «Что делать?», утверждая свое представление о роли и месте литературы в идеологической борьбе эпохи.

В романе «Что делать?» стихи Некрасова служат своеобразным сигналом, направляющим мысль читателей. Особенно показателен в этом отношении эпизод с чтением поэмы «Коробейники». Тут многое знаменательно: и то, что Вера Павловна и Кирсанов имеют возможность читать еще не опубликованную поэму (это обстоятельство специально выделено: тем самым подчеркивается близость «новых людей», если и не к самому Некрасову, то во всяком случае к его ближайшему окружению), и то, что они знают об оценке поэтом своей новой поэмы (он «отчасти доволен ею» — 257). Хорошо известно, что в творчестве Некрасова «Коробейники» занимают особое место. Это поэма, написанная не только о народе, но и для народа. Некрасов сам позаботился о наиболее широком распространении этой поэмы среди народа, издав ее в серии «Красные книжки», предназначенной для продажи по самой дешевой цене. Чернышевский воспользовался строчками из поэмы для пропаганды революционных идей в статье «Не начало ли перемены?». Поэтому нет ничего удивительного, что именно «Коробейники» оказались так

по душе героям романа «Что делать?». И когда они проницательно замечают, что «Коробейники» знаменуют в творческом развитии Некрасова начало нового этапа: «это у него в новом роде» (257), то это мнение, конечно, передает точку зрения и самого автора романа.

Однако смысл отзывов Веры Павловны и Кирсанова о «Коробейниках» заключается не только в демонстрации их хорошего эстетического вкуса и тонкого литературного чутья. Чтение некрасовской поэмы способствовало окончательному формированию взглядов Веры Павловны на роль труда в жизни человека вообще и женщины в особенности. «Коробейники» подталкивают Веру Павловну к мысли о необходимости иметь свое *дело*, которое было бы для нее твердой опорой в жизни, помогало бы переносить трудности, огорчения, невзгоды.

Своеобразным синтезом всех литературных реминисценций в романе стала заключительная сцена пикника, где звучит особенно много стихов и песен. Здесь еще раз демонстрируются литературные вкусы его героев. Не случайно песенный репертуар дамы в трауре начинается известным в свое время романсом на слова И. И. Дмитриева «Стонет сизый голубочек». Для нее и для слушателей это элемент чужой культуры, нечто, достойное лишь насмешек. Поэтому дама в трауре во время пения старалась «выводить ноты как можно визгливее» и, прервав пение, замечает: «Не выходит — и прекрасно, что не выходит, это не должно выходить — выйдет другое, получше...» (341)<sup>14</sup>. И она сильным, полным контральто начинает петь песню на слова Лермонтова. Вслед за ней дама в трауре исполняет песню на слова Вальтера Скотта, затем снова звучат слова Лермонтова, потом доходит очередь до украинской народной песни «Гей, шинкарочка моя...». Вполне вероятно, что появление именно этой песни на страницах «Что делать?» тоже не случайно: она была одной из любимейших у великого украинского поэта Т. Г. Шев-

---

<sup>14</sup> Уже во времена Пушкина пение этого романса считалось признаком архаического или мещанского вкуса. Ср. ироническое описание культурного уровня Параша, героини пушкинской поэмы «Домик в Коломне»:

В ней вкус был образованный. Она  
Читала сочиненья Эмина,  
Играть умела также на гитаре  
И пела: Стонет сизый голубок,  
И Выйду ль я, и то, что уж постаре...

(Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. IV. С. 327).

ченко. Существует даже предположение, что именно от него мог услышать эту песню Чернышевский<sup>15</sup>. Далее исполняют произведения Кольцова и снова Некрасова.

Герои Чернышевского в своих разговорах, размышлениях неоднократно вспоминают и зарубежных писателей (Боккаччо, Шекспира, Руссо, Беранже, Корнеля, Гете, Шиллера, Жорж Санд, Диккенса, Теккерея, Бичер-Стоу и др.). Анализ этого большого материала должен стать предметом особой работы.

**В. С. ВАХРУШЕВ**

### **«ЧТО ДЕЛАТЬ?» ЧЕРНЫШЕВСКОГО И «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» ТЕККЕРЕЯ. ПЕРЕКЛИЧКИ И ПОЛЕМИКА**

Общеизвестно, что великий русский революционер-демократ мыслил категориями мирового масштаба. Его интересовали судьбы народов не только России, но и Западной Европы, Америки, стран Азии. В своем художественном творчестве он опирался на опыт не только русской, но и всемирной литературы — эта тема еще мало разработана. Предлагаемый сравнительно-сопоставительный анализ лучшего литературного произведения Н. Г. Чернышевского с известным романом английского сатирика может углубить выработанную советским литературоведением концепцию творческого метода писателя-революционера.

Еще в 1928 году А. П. Скафтымов, сравнивая «Что делать?» с романом Жорж Санд «Жак», отметил, что сходство между этими произведениями ограничивается по существу сюжетными совпадениями<sup>1</sup>. К сказанному выдающимся исследователем следует добавить, что Чернышевский-реалист полемизирует не только с романтическим методом французской писательницы. Даже чисто личная, семейно-бытовая линия «Что делать?» полемически заострена против романа, послужившего ему в известной мере прототипом. Ж. Санд в

<sup>15</sup> См.: Недзвідський А. Особисті зустрічі з Шевченком//Незгасний світоч. Київ, 1978. С. 347—348.

<sup>1</sup> Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 218—249.

30-е годы, создавая «Жака», находила только трагически мелодраматический выход из любовного «треугольника» — Жак не захотел мешать своей любимой жене Фернанде соединиться с Октавом, но он не в силах был перенести разлуку с нею и покончил жизнь самоубийством. Гибель героя обставлена эффектно: Жак намерен броситься в ледяную пропасть с поднятыми руками и воплем «Вот она, божественная справедливость!»<sup>2</sup>. Лопухов же, покидая свою жену и Кирсанова, лишь имитирует самоубийство, автор настойчиво внушает читателям мысль о ненужности подобной жертвы, развенчивает романтическую патетику финала «Жака». Речь, следовательно, идет не столько о подражании Ж. Санд, сколько о споре с ней, о преодолении ее взглядов на семейную жизнь.

А. П. Скафтымов справедливо отмечает, что Чернышевский, ополчаясь против романтизма французской писательницы, берет себе в образец другую традицию. «Его учителями здесь являются скорее такие романисты, как Диккенс, Теккерей, отчасти Гоголь»<sup>3</sup>. Связь с ними исследователь видит в стремлении автора к «бытовой осязательности», в «сохранении тона непринужденной бытовой беседы», в иронии и сатире, в частых вторжениях самого автора в повествование<sup>4</sup>.

Эти мысли можно развить в том плане, что именно Теккерей, создатель «Ярмарки тщеславия», — тот автор, опыт которого особенно близок Чернышевскому-писателю, его творческой манере. И в то же время, как и в случае с Ж. Санд, русский революционер-демократ, находя нечто себе близкое у иностранного романиста, вступал с ним в решительную полемику, когда дело касалось убеждений, взглядов на жизнь. Мы знаем, как в рецензии на «Ньюкомов» Чернышевский расхвалил «шеспировскую» силу таланта Теккерей и как беспощадно он осудил этот роман за отсутствие «серьезных, действительных, общепонятных интересов», «мысли, которая связывала бы людей и события»<sup>5</sup>. На подцензурном языке это значило, что «Ньюкомы» не удовлетворяли критика удаленностью от проблем революционной борьбы. Лучшим романом Теккерей Рахметов считает «Ярмарку тщеславия»

---

<sup>2</sup> Sand G. Jacques. Paris: J. Metzel. 1854. P. 96.

<sup>3</sup> Скафтымов А. П. Нравственные искания... С. 238.

<sup>4</sup> Там же. С. 238, 240, 241.

<sup>5</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 519, 521.



(205)<sup>6</sup> — таково, очевидно, и мнение автора «Что делать?». Что же он мог непосредственно почерпнуть для себя в этой книге? Прежде всего, остроту сатиры на мещан, на обывательскую мораль и непринужденную авторскую манеру лукаво-добродушного разговора с читателем, позволяющую в шутиливо-игровом духе беседовать о серьезных вещах. И еще один важный момент, связанный с проблемой женской эмансипации: Чернышевскому вряд ли была безразлична судьба Ребекке Шарп, главной героини «Ярмарки тщеславия». Дочь бедняков, она с детства терпит унижения и обиды, силой своего таланта, энергии, воли сама стремится устроить свою судьбу. Этим она напоминает отчасти Веру Павловну — но Чернышевский сразу же противопоставляет свою героиню Ребекке и ей подобным. Бекки «обладала печальной особенностью бедняков — преждевременной зрелостью» (20)<sup>7</sup>, — обобщает Теккерей. Нищета иссушила, очерстила ее сердце. С самого начала она делается «опасной птицей», хищницей. Русский же писатель не склонен к столь пессимистическим выводам о зависимости человека от социального окружения. Правда, сама Вера Павловна склонна объяснить чудом свою неиспорченность мещанством: «Как я могла дышать в этом подвале?... Как я могла тут вырасти с любовью к добру? Непонятно, невероятно» (119—120). Непонятно, однако, только для юной героини, а не для автора, исполненного оптимизма и веры в свою антропологическую философию. Революционер-демократ стремился постичь социальную диалектику, в ходе которой зло иногда необходимо для рождения добра. Недаром во втором сне Веры Павловны, в сценах видений (которые по стилю напоминают отдельные страницы Диккенса), звучат слова Марьи Алексеевны: «Слушай же ты, Верка... Ты ученая — на мои воровские деньги учена. Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что такое добром называется» (125).

Теккерею подобный социально-исторический оптимизм был чужд — и доведись ему прочитать «Что делать?», он, вероятно, сочинил бы пародию на идиллическую картину мастерской Веры Павловны.

---

<sup>6</sup> Цифра в скобках дает страницы романа по изданию: Чернышевский Н. Что делать? М., 1957.

<sup>7</sup> Цитаты из «Ярмарки тщеславия» даются по изданию: Теккерей У. М., Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. М., 1976. В скобках указана страница.

Предвидя возражения оппонентов, Чернышевский утверждает: «чистейший вздор, что идиллия недоступна», «для огромного большинства людей... счастье должно иметь идиллический характер» (164). Теккерей, судя по его романам, и сам чрезвычайно любил идиллию, но он никак не мог поверить в ее достижимость — отсюда горько-иронические финалы «Ярмарки», «Пенденниса», «Ньюкомов». При этом английский сатирик никогда не отрицал социальной диалектики — «добрые» персонажи его книг зачастую способствуют невольно злу, а хищники типа Ребекки Шарп постоянно активизируют общество, помогая тем самым и силам добра.

Русский писатель подхватывал у своего английского собрата по перу эту апологию активности, которая необходима для самореализации личности, развития заложенных в ней духовных богатств. Но у теккереевской героини эта энергия извращена уродующей силой отчуждения и только в редких случаях — когда Ребекка тянется к искусству — реализуется плодотворно. Теккерей с мягким юмором одобряет свою героиню за ее пронзительный ум, находчивость, настойчивость в поиске подходящего жениха, за то, что она, будучи гувернанткой, дает ученицам «вольные» книги Вольтера и Филдинга, за ее отважные схватки со светскими дамами и победы над ними, за ее сценические триумфы (28, 105, 565, 590—595). Полуиронически, но по существу серьезно Теккерей находит в своей героине черты сказочных хищных зверей, видит сходство ее с Клеопатрой, Клитемнестрой. Но Ребекка губит себя, отказываясь во имя тщеславия от дела, предназначенного ей судьбой, от профессии актрисы балагана (580—582). Вот почему ее «эпифания», появление в роли «божественной» Клитемнестры оказывается жалкой пародией на подлинное величие (797—799).

Вера Павловна, в отличие от Ребекки, уверенно идет по жизни и находит в ней достойное себя призвание. Она решительно восстает против тирании матери, смело утверждает себя в новом тогда для всех женщин деле — овладевает профессией медика. «Конечно, пробивать новую дорогу тяжело. Но мое положение в этом деле особенно выгодно» (261), — говорит она. Ее энергии хватает и на то, чтобы руководить мастерской, где практически утверждаются идеалы свободного, равноправного труда, гармонического развития личности. И вовсе неудивительно поэтому особое возвышение героини Н. Г. Чернышевского: ее хвалит, пусть со слов Лопухова, великий социалист-утопист Р. Оуэн, этот «святой

старик» (176). В четвертом сне Вера Павловна с радостным изумлением узнает, что она и есть богиня женского равноправия, царица светлого будущего, в которой гармонически сливаются черты Астарты, Афродиты, Мадонны (278).

Этот апофеоз Вечной Женственности напоминает о финале «Фауста» Гёте, о Гретхен и в то же время о Ребекке — Клеопатре — Клитемнестре. Но в русской героине нет ни робкой покорности Маргариты, ни жестокости Бекки. Для автора «Что делать?» она представляется поистине идеальной женщиной, в которой гармонично соединились все реально мыслимые добродетели. Попутно отметим, что другая положительная героиня романа, Екатерина Полозова, мысленно перевоплощается в героинь Жорж Санд, подобно Татьяне Лариной, воображавшей себя Клариссой, Юлией, Дельфиной.

Итак, основной пункт полемики Чернышевского с Теккереем, продолжающей по существу рецензию критика на роман «Ньюкомы», — это страстное опровержение скептических и пессимистических установок английского реалиста. Там, где у Теккереев стоит минус, у русского революционера-демократа оказывается плюс. Ребекка Шарп талантлива и полна энергии, но порочна, а Эмилия Седли нежна и добродетельна, но пассивна. Вера Павловна не менее одарена и активна, чем Бекки, и при этом одарена столь же добрым сердцем, как и Эмилия. Главное же, ей близки социальные идеалы, совершенно чуждые героиням «Ярмарки тщеславия». Персонажи Чернышевского верят в то, что на смену железному веку обязательно придет век золотой! (184). Теккерей считает, что исторический прогресс не отменяет круговращения суеты сует, и уподобляет Лондон будущих веков Вавилону и другим городам Ближнего Востока, превратившимся в развалины среди пустыни (577).

Полемика эта тем острее, чем очевиднее, что русский писатель многому учился у Теккереев, творчески осваивая отдельные аспекты образной системы английского сатирика, его мотивы, приемы, ходы мысли. Попытаемся систематизировать свои наблюдения в этом плане. Известно, что Теккерей воспринимал жизнь как игру, многосторонний вероятностный процесс, в котором меняющийся набор жестких ограничений-правил причудливо соединяется с различными степенями свободы<sup>8</sup>. Одним из наиболее значимых аспектов этого игрово-

---

<sup>8</sup> Вакрушев В. С. Творчество Теккереев. Докторская диссертация. Балашов, 1985, первая глава.

го понимания жизни было восприятие действительности как театра, где все люди одновременно и зрители и «актеры», исполняющие вольно или неосознанно различные социальные роли. Эти представления были близки Чернышевскому-художнику, автору «Автобиографии», «Повести в повести» и других произведений, создававшихся в одно время с романом «Что делать?».

Кирсанов предлагает Кате Полозовой рискованное дело. «Риск вовсе не велик. Но серьезен. Из всех лотерей только один билет проигрышный», — говорит он (303). Персонажи Теккерей обожают рисковать, они любят играть в «чудесную игру жизни», хотя эта самая игра оказывается часто «грошовой». Так, в «Ярмарке тщеславия» «призы» жизненной лотереи суетны и призрачны. Эмилия выходит замуж за обожаемого Джорджа Осборна, «приз был выигран» (302). Через много лет мужем Эмилии становится Доббин, «он добился приза» (795). Но кто выиграл реально? Автор затрудняется ответить, ибо «непостижимой и грозной силе, определяющей человеческие судьбы, угодно принижать и повергать в прах нежных, добрых и умных и возносить себялюбцев, глупцов и негодяев!» (659).

С этим представлением решительно не согласен Чернышевский. Для него жизнь со всеми ее бедами и невзгодами, ее борьбой противоположностей в целом ориентирована на конечное торжество справедливости. Риск жизненной «игры» серьезен, но не бесперспективен. Поэтому герои Чернышевского играют свои роли и серьезно и вместе с тем как-то озорно, можно сказать, с артистическим вдохновением. Кирсанову тяжело дается роль друга семьи Лопуховых, когда он влюбился в Веру Павловну, и он с иронией говорит о себе: «эгоизм повертывает твои жесты так, что ты корчишь человека, упорствующего в благородном подвижничестве» (186). Но в самой этой иронии героя над собою ощутима особая утонченность его натуры, умеющей оценить себя со стороны и подняться выше пусть и разумного эгоизма.

Великолепным образцом игры — и героя и автора — является первая глава романа «Дурак», рисующая устроенную Лопуховым инсценировку самоубийства. Сколько едкой и веселой авторской иронии в хоре обывательских голосов, комментирующих событие!: «Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно» (5). Эта фраза — ключ, отпирающий фантазию читателя, тем более, «проницательного»: мы начинаем гадать, о ком же идет речь, кто

он и т. д. А Лопухов тем временем хотя и не преспокойно, но живет и с удовольствием, как видно, предстает в роли американца Чарльза Бьюмонта, выросшего, однако, в России. Обращает на себя внимание одна антропонимическая деталь — новое имя Лопухова «произносилось не Шарль Бомон, как прочли бы незнающие, а Чарльз Бьюмонт» (312). К чему эта оговорка? К тому, очевидно, что автор заставляет нас вдуматься в смысл иностранной фамилии, которая по-французски значит «красивая гора». Не намек ли это на Саратов, название которого в переводе с татарского означает «желтая гора»<sup>9</sup>. К тому же, в этой малозначащей детали заложено зерно приема, широко развернутого в «Повестях в повести» — игра масок — фамилий — синонимов, русских и иностранных (Лесников — Форстер и т. п.).

Персонажи «Ярмарки тщеславия», как и других романов Теккерея, известных русскому писателю, то и дело меняют свои маски, предстают перед читателями в самых неожиданных подчас обличиях. Ребекка Шарп уподобляется змее, ведьме, сирене, Наполеону и даже кочевому арабу-разбойнику. Ее подруга Эмилия сравнивается с куклой, птичкой и «маленьким нежным паразитом», обвивающимся вокруг могучего дуба — Доббина. Сам Доббин — это донкихот XIX века, готовый биться за справедливость, и забавный «майор Слива», неловкий и неуклюжий, он же и просто болван — «кляча» (таков по-английски смысл его фамилии, сравни «Лопухов» — лопух, «дурак» у Чернышевского, добрая ирония в обоих случаях несомненна). Одна из любимейших героинь русского писателя, Этель из романа «Ньюкомы», представляется то гордой Дианой или Юдифью, то «первой фавориткой белгрейвского гарема».

«Метаморфозы» персонажей «Что делать?» в принципе могут быть столь же неожиданны и необычны, ибо они охватывают и самую «низкую» прозу жизни, и ее глубинные тенденции. Таково, например, превращение Лопухова в «русского американца» Чарльза Бьюмонта, его «воскресение» после мнимой смерти. Таково нравственное возрождение бывшей падшей женщины Насти Крюковой. Нечто сказочное есть и в истории Веры Павловны, образ которой легко ассоциируется с образами «золушки» и «гадкого утенка». Маленькую

---

<sup>9</sup> См.: Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 369—370.

Веру мать бьет не хуже злой мачехи, Верочку обзывают «дурой», «чучелом», она сама считает себя «дурнушкой», «цыганкой», автор обращается к ней как к доброй, не глупой, но «простенькой девочке», каких много в жизни (56—57). В этом определении скрыта добрая авторская ирония: не так проста эта девочка, у которой с ранних лет проявилась самостоятельность суждений, железная воля, чувство собственного достоинства, тяга к знаниям. Рано приобщившись к передовой культуре своего времени, она стремительно растет на наших глазах и вскоре становится одной из передовых женщин России, а в снах своих — даже богиней светлого будущего. Для сравнения отметим, что лучшие теккереевские персонажи тоже удостаиваются подобных апофеозов: Ребекка «вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало бы королеве; и если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она бесподобно сыграла бы свою роль» (548—549). Генри Эсмонд более достоин стать британским монархом, чем законный претендент Чарльз Стюарт, Этель Ньюком прекрасна как античная богиня Диана.

Принципиальная разница, однако, в том, что новые люди Чернышевского уверены в конечном торжестве своего дела, в то время как «апофеозы» теккереевских героев в конце концов оборачиваются поражением — даже достигнутая цель не приносит ожидаемого счастья. «Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено», — так завершается «Ярмарка тщеславия» (800). И как прямое опровержение этого мрачного финала звучат в финале «Что делать?» строки из стихотворения Томаса Гуда, соотечественника и современника Теккерея:

Черный страх бежит, как тень,  
От лучей, несущих день;  
Свет, тепло и аромат  
Быстро гонят тьму и хлад...

(перевод М. Михайлова)

Итак, если пользоваться теккереевской терминологией, «игра жизни» для героев Чернышевского чудесна и радостна, ее трагедии и драмы осмыслены и исторически оправданы. И, может быть, поэтому так велика в произведении роль образа автора-рассказчика — ведь ему, автору, так не терпится вовлечь в эту увлекательную и опасную «игру» как

можно больше читателей, сочувствующих революции, а заодно и «гусей подразнить», поиздеваться над обывателями и реакционерами. И в этом деле революционеру-демократу помог художественный опыт английского сатирика. У Теккерея образ автора-рассказчика в «Ярмарке тщеславия» многолик и полифункционален, он предстает в романе в обликах светского болтуна, собирающего сплетни о своих персонажах, юного дэнди, встречающегося с будущими героями своей книги, шута, выступающего перед почтеннейшей публикой, в роли невидимки или Лунного Света (чисто фарсовый персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»). Автор-рассказчик предстает и как режиссер-постановщик кукольной комедии в одном из балаганов Ярмарки тщеславия, одновременно он и ярмарочный зазывала, громко рекламирующий свой «товар» (смотри пролог «Перед занавесом», начало шестой главы, с. 7—8, 60—63). Он же, естественно, и комментатор излагаемых им событий, непринужденно беседующий с читателями о персонажах и событиях романа, о собственных «трюках» и приемах подачи материала.

В русской литературе мы ни у кого, пожалуй, не найдем столь активного авторского начала в реалистической прозе, активного не в смысле интенсивности и силы авторской интонации, конечно, ибо что в этом плане может сравниться с лирическими отступлениями Гоголя в «Мертвых душах»? Имеется в виду многогранность образа «играющего» автора. Чернышевский уникален этим среди других русских прозаиков, да ведь и Теккерея, послуживший ему образцом, тоже не знает себе равных по силе образа рассказчика в английской литературе.

Присмотримся, чему русский писатель мог научиться у своего зарубежного коллеги в «игровом» построении романа. Прежде всего, это полная непринужденность рассказа, своего рода интимная, личная близость автора к своим героям, побуждающая его в иронически простецком тоне «выбалтывать» их житейские маленькие слабости и секреты, так что читатель как бы поневоле проникается симпатией к этим новым для него людям, новым, но столь, оказывается, близким и понятным нам. «Неужели судьба моя, — иронизирует автор, — как романиста состоит в том, чтобы компрометировать перед благовоспитанными людьми всех моих героинь и героев? Одни из них едят и пьют; другие не боятся без причины: какие неинтересные люди!» (322). В первоначальном варианте романа читаем о деталях, «страшно комп-

рометирующих поэтичность моего романа, в котором занимают такое важное место чай и обед»<sup>10</sup>. Так мог бы сказать и Теккерей, писавший в «Ньюкомах»: «Я невольно улыбаюсь при мысли о том, сколько уже обедов было описано на сих правдивых страницах» (IX, 141). Герои Чернышевского, подобно теккереевским персонажам, не только с аппетитом пьют и едят, но при случае не прочь и подраться, когда чувствуют себя лично оскорбленными (144—145). Вспомним, что и Доббин, единственный по-настоящему положительный герой «Ярмарки тщеславия», начинает утверждать себя в жизни с школьной драки. Теккерей полуиронически-полусерьезно сравнивает схватку двух мальчишек с войной американских колоний за независимость, с битвой Ватерлоо (53, 55), и это гротескно-гиперболизированное сравнение малого с великим стало неотъемлемой составной частью художественной системы Чернышевского. В «Что делать?» душевное смятение Мишеля Сторешникова сравнивается с движением народов, запечатлеваемых в исторических трудах Юма и Гиббона (32), домашние затруднения Марьи Алексеевны уподоблены наполеоновской катастрофе под Ватерлоо (39). Смысл таких сатирико-юмористических параллелей ясен: оба писателя видят неразрывную связь великого и ничтожного в истории, в бытии и быте народов и отдельных людей.

Осознательная конкретность, живая достоверность теккереевских персонажей (автор признавался, что видит и слышит их) парадоксально соединяются с открытой условностью в построении их образов, поскольку писатель остро чувствовал природу реалистического искусства и не хотел подменять его иллюзией полного правдоподобия. Отсюда постоянные «трюки» повествователя в «Ярмарке», обнажение приема, эксперименты с жанром и стилем романа, введение фигуры «проницательного читателя», беседы с читающей книгу аудиторией. Уже в первой главе «Ярмарки» читаем: «Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу («Ярмарку тщеславия» — В. В.) у себя в клубе, не замедлит рассердиться... Я так и вижу, как оный Джонс пишет саркастические замечания на полях романа. Ну что ж! Джонс — человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, — и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения» (14). Так возникает

---

<sup>10</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. XI. С. 573.



у Теккерея иронический персонаж, некая обобщенная фигура «умного» мещанина-читателя, чьи требования автор будет постоянно высмеивать, чьи ожидания он будет обманывать. Теккерей-рассказчик обращается с этим типом довольно бесцеремонно, на манер хозяина балагана, способного под шумок и надуть почтенную публику. Так, он в прологе «Перед занавесом» обещает читателям «зрелища самые разнообразные: кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни» и многое другое столь же «замечательное» (8). Но в дальнейшем оказывается, что автор «наигрывает самый простенький мотив» (60), что он не претендует на звание сочинителя военных романов и не собирается изображать сражение (338), да и великосветских эпизодов у него не так уж много. Правда, этим «признаниям» противоречат время от времени возобновляющиеся обещания дать «главы потрясающего содержания» (60), «не пожалеть ярких красок» при разоблачении «страшных злодеев» (94—95). Последовательность тут и не нужна, она не входит в правила срежиссированной рассказчиком игры. Главное в том, чтобы высмеять шаблонные представления читателей о романе, заставить его активно размышлять о жизни, о проблемах, поставленных произведением. Вот почему Теккерей так нужно беседовать с нами о действующих лицах его романа, хвалить или осуждать их (95).

Чернышевский в своем романе ведет разговор с таким же по существу «проницательным читателем» — обывателем, но в отличие от английского реалиста он сразу, «открытым текстом», без всякого эзопова языка дает понять, что есть в русской читающей публике «довольно значительная доля» людей, которых автор уважает и наличие которых и дает ему основание писать свой роман (10). С проницательным же читателем рассказчик так же бесцеремонен, как Теккерей со своим шутлом-повествователем. Юмор Чернышевского, может быть, более прямолинеен, в нем меньше тонких нюансов, чем у Теккерея. «Я очень плохо думаю о публике», — рубит с плеча автор. «Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффективными сценами... Ты, публика... неразборчива и недогадлива» (8). И тут же автор еще более «дурачит» свою публику, сообщая ей, что далее не будет никаких «уловок», повествование будет лишено всякой таинственности и «кончится весело, с бокалами, песнью» (9). Впрочем, в этой, казалось бы, излишней откровенности, в чрезмерной насмешке над «проницательным читателем» у

Чернышевского скрыт особый игровой ход — автор столь же непоследователен, как и Теккерей. «Уловки» в повествовании будут, будут и тайны, да и финал романа при всей его мажорности окутан покровом известной загадочности, требующей расшифровки со стороны не только «публики», но и серьезных исследователей.

Если Теккерею игра с читателями была нужна для того, чтобы обходить препоны викторианской моральной цензуры, ее неписаных законов, диктовавших необходимость соблюдения «приличий», то Чернышевский сталкивался с более трудной и опасной задачей: ему нужно было во что бы то ни стало обойти цензуру политическую и донести до широкой общественности идеи революционные. Английскому сатирику в этом смысле было легче. Он в своем романе мог, например, свободно бичевать монарха Георга IV и его придворных, критиковать британских политиков и дипломатов, смеяться над порядками в армии и церкви. Чернышевскому о многом приходилось совсем умалчивать, кое о чем говорить между строк. Сближает же его с Теккереем то, что он, как и автор «Ярмарки тщеславия», откровенно говорит читателям о том, какими сведениями он, автор, не располагает и какими не может с нами поделиться. Это было резкое нарушение многовековой традиции авторского всеведения, которая стала одной из общепринятых условностей литературы. Теккерей неоднократно заявлял: «Романист знает все, отсюда и бытующая до сих пор точка зрения, будто он в своих книгах выступает как «всезнающий» автор<sup>11</sup>. Между тем он и в этом вопросе был нарочито непоследователен, свободно чередуя высказывания о «знании» и «незнании» романиста. Так, остается неизвестным, изменяла ли Ребекка своему мужу. Точно так же мы не знаем, стала ли она отравительницей Джоса Седли — даже в личной беседе с одним из читателей Теккерей не смог ответить на этот вопрос!<sup>12</sup>. На Ярмарке тщеславия,— пишет романист,— мы много чего делаем и знаем, о чем никогда не говорим» (737). То есть автор вовсе не обладает абсолютной и непогрешимой истиной, он, как и читатели, должен искать ее, стремиться

---

<sup>11</sup> Урнов М. В. Вехи традиции в английской литературе. М., 1986. С. 156.

<sup>12</sup> Wilson G. Thackeray in the United States, v. 1, New York, 1970, p. 259.

к ней, он может ошибаться, что-то скрывать от читателей, читатель же, в свою очередь, должен соучаствовать в активном поиске правды о героях произведения, о жизни, в нем изображаемой.

Такая позиция по душе русскому революционеру-демократу, стремившемуся революционизировать свою аудиторию, побудить ее к энергичной умственной деятельности. «Проницательный читатель, может быть, догадывается из этого, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю... Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать. А вот чего я действительно не знаю, так не знаю: где теперь Рахметов, и что с ним, и увижу ли я его когда-нибудь» (210). Здесь принципиально иной, чем у Теккерея, герой, принципиально иные проблемы, но тот же прием сокрытия части информации и незнания другой части ее — во имя активизации читательской мысли. И Чернышевский более энергично, чем Теккерей, использует его. Вводя в роман образ Рахметова, он начинает еще резче, чем ранее, дразнить и унижать «проницательного читателя» и даже устраивает демонстративное «позорное изгнание» его, а когда этот исчезнувший, казалось бы, персонаж «самовольно» вновь появляется, чтобы «разболтать тайну» одного письма, рассказчик бесцеремонно затыкает ему рот салфеткой: «Ну, знаешь, так и знай; что ж орать на весь город?» (240). Но до поры, до времени рассказчик очень охотно «болтал» с этим жалким типом, ибо ирония диалога помогала как бы невзначай, обиняками сказать о существенном, об огромном значении фигуры Рахметова с тем, чтобы повести разговор всерьез и закончить третью главу панегириком герою-революционеру и пламенным призывом ко всем «порядочным людям»: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои...» (230). В том и состоит искусство Чернышевского-романиста, что фигура Рахметова дана крупно, ярко и в то же время окутана покровом таинственности, недосказанности, как бы окружена завесой слухов, догадок, предположений, рождающихся в диалогах рассказчика с читателем умным и читателем «проницательным».

У Теккерея в «Ярмарке тщеславия» есть тип сплетника Тома Ивза, осведомителя, который «все решительно знает» и сообщает рассказчику сведения о героях, «возможно достоверные, а возможно и выдуманные» (537, 539). «Проницательный читатель» из «Что делать?», набитый всевозможными сплетнями и измышлениями, готовый поделиться слуха-

ми, сродни своему английскому собрату. Оба художника ведут диалог с ними, чтобы осмеять обывательские представления о романах и жизни, а также чтобы обострить восприятие читателей, вовлечь их в процесс художественного постижения действительности.

Еще одна особенность, сближающая писательские манеры английского и русского писателей, это соединение в их романах прозы жизни («важное место» в рассказе «занимают чай и обед») с особой музыкально-литературной поэтичностью. Теккерей насыщает действие историко-литературными ассоциациями, его персонажи слушают и исполняют музыку Моцарта и Бетховена. Россини и Чимарозы, цитируют Шиллера и Томаса Мура, уподобляются персонажам Шекспира и Теренция. Для английского реалиста искусство, творчество было высочайшим проявлением жизни, и он не мог не приобщить к нему своих героев.

И то же находим у Чернышевского. В «Что делать?» цитируются и упоминаются Боккаччо, Руссо, Жорж Санд, Шиллер, Гёте, Томас Гуд, Бичер-Стоу, Беранже, Гоголь, Некрасов, Кольцов. Рахметов с наслаждением читает «Ярмарку тщеславия» Теккерея и отвергает «Пенденниса» (205), Лопухов-Бьюмонт и Екатерина Полозова осуждают «новый роман» того же автора: «При таком таланте и так исписался! оттого, что запас мыслей скуден» (321). Это повторение мыслей самого Чернышевского из рецензии его на «Ньюкомов». А сколько в романе песен и стихотворений! Музыкально аранжированы третий и четвертый сны Веры Павловны, их как бы ведет голос чудесной итальянской певицы Анджелины Бозио, талант которой воспел Некрасов. Четвертый сон — пышная театрализованная феерия — обзор веков прошедших и грядущих, а пение «дамы в трауре» в финале пятой главы — это развернутая поэтическая музыкальная композиция, иносказательно подводящая итоги романа.

Новые люди Чернышевского не мыслят себе жизни без искусства, сколь бы ни были они заняты деловыми заботами и социальной борьбой. Идеал будущего для писателя — это жизнь творческая и свободная, ставшая искусством, и искусство, переходящее в жизнь. Не об этом ли говорит такая деталь: в «самодетельном» хоре во дворце будущего целая сотня таких прекрасных голосов, каких в Европе XIX века не набиралось и десятка (285).

Подведем итоги. Чернышевский не случайно выделял из всех западноевропейских писателей именно Теккерея, не слу-

чайно так высоко ценил его «шекспировский» талант и так резко осуждал оскудение его творчества после «Ярмарки тщеславия». Причиной этого была удивительная близость творческих манер двух романистов и радикальная противоположность их политических ориентаций. Вот почему, совпадая с английским сатириком в целом ряде образных решений, в отдельных существенных ходах художественной мысли, великий революционер-демократ решительно полемизирует со своим выдающимся предшественником по кардинальному вопросу о путях достижения светлого будущего. Оптимистическая устремленность Чернышевского и его новых героев резко противостоит трагикомически гротескному представлению Теккеря об истории, как о вечно варьирующемся цикле суеты сует. Но русский писатель охотно учился у великого сатирика искусству проникновения в «игровые» закономерности жизни, в ее социальную диалектику, искусству «игры» с различными категориями читателей, требующей мысли, мысли и еще раз мысли.

Сравнением двух романов проблема сопоставления Теккеря с Чернышевским не исчерпывается. Жанровое богатство и в то же время целостность творческого наследия двух этих авторов, в частности, связи их сказок с романами, соотношение фантастики и различных других видов условности с правдоподобием в их реалистическом методе — все это и другие вопросы, связанные с их прозой, ждут дальнейшего исследования. Сравнительный анализ поможет углубить наше представление об основных закономерностях становления художественного творчества выдающегося русского революционера-демократа.

Г. Н. АНТОНОВА

### **«ОТЦЫ И ДЕТИ» ТУРГЕНЕВА В ОЦЕНКЕ ГЕРЦЕНА. ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ 1860-х ГОДОВ**

#### **I**

Любая герценовская оценка того или иного художественного произведения дает ключ к пониманию его литературно-критического метода. С этой стороны высказывания Герцена о романе Тургенева «Отцы и дети», к которому он не

раз возвращался в разное время своей деятельности, представляют богатейший материал. В научной литературе по поводу означенных высказываний существуют самые разноречивые мнения. Высказывалась мысль о том, что в 1862—1864 годах «во многих отношениях Герцен был ближе к точке зрения Антоновича, но без его преувеличений и крайности»<sup>1</sup>. Что же касается дальнейшего изменения герценовского отношения к роману, то оно объяснялось, главным образом, причинами «не эстетическими, а идейными, психологическими и личными»<sup>2</sup>.

Но приведенные точки зрения не учитывают достаточно полно философско-эстетического смысла рассуждений критика, взятых в их эволюции. Среди исследований, посвященных интересующей нас теме, нельзя не отметить статьи С. Д. Лищинер «Герцен и Тургенев (тема преемственности передовых поколений)», в которой справедливо говорится: «Роман прочно живет в сознании Герцена не только как идейный комплекс, но и как эстетическая реальность, рождая потребность в противопоставлении собственных образных решений»<sup>3</sup>. Автор верно отделяет герценовскую трактовку «Отцов и детей» от высказываний Антоновича и Писарева. В отзывах Герцена о романе Тургенева С. Д. Лищинер разграничивает два этапа: «В первые годы — неприятие, признание творческим поражением (письмо к Тургеневу от 21 (9) апреля 1862 года, цикл художественно-публицистических «Писем к будущему другу», статья 1864 года «Новая фаза в русской литературе»). Во второй половине 60-х годов постепенно углубляется подход к роману, постигается его реалистическая сила. Это нашло свое отражение в переписке Герцена 1867—1868 годов и главным образом в эпистолярном цикле «Еще раз Базаров» (1868)»<sup>4</sup>. Несмотря на некоторые оговорки, которыми сопровождается характеристика означенных этапов, бросается в глаза жесткое разделение высказываний Герцена на почти не связанные друг с другом периоды. А между тем по выходе «Отцов и детей» в свет оценка

---

<sup>1</sup> Радек Л. С. Герцен и Тургенев: Литературно-эстетическая полемика. Кишинев, 1984. С. 104.

<sup>2</sup> Туниманов В. А. А. И. Герцен // История русской литературы: В 4 т. Л., 1982. Т. III. С. 258.

<sup>3</sup> Лищинер С. Д. Герцен и Тургенев: Тема преемственности передовых поколений // Рус. лит., 1970. № 2. С. 37.

<sup>4</sup> Там же.

критика не исчерпывалась явным неприятием идейной и художественной сторон романа. Многоплановость и сложность произведения Тургенева открылась Герцену задолго до появления статьи «Еще раз Базаров», своеобразного итога предыдущих размышлений критика.

Остановимся на трактовке Герценом образа Базарова, которого и сам критик выделял как центральную фигуру в художественном мире романа, о чем кстати свидетельствует и название его поздней статьи «Еще раз Базаров». Как бы ни менялись акценты в высказываниях Герцена, они всегда основывались на глубоком понимании многозначности образа Базарова. Раскрывая философский смысл этого образа, критик имел в виду в разное время то одну, то другую грань его. При этом изменяющиеся оценки Герцена отражали эволюцию его собственных философских воззрений и опирались на его понимание сущности искусства. Нельзя, конечно, забывать, что Герцен в 60-е годы не был теоретиком искусства, что его суждения органически включались в его историко-философские построения, посвященные судьбам развития России и Европы. Определяя «художественный смысл» искусства, Герцен прежде всего подчеркнул его эстетическую самоценность. «Искусство <...> по преимуществу изящная соразмерность», — писал он в первом письме цикла «Концы и начала» (1862). «Оно, вместе с зарницами личного счастья, — единственное, несомненное благо наше; во всем остальном мы работаем или толчем воду для человечества, для родины, для известности, для детей, для денег, и притом разрешаем бесконечную задачу, — в искусстве мы наслаждаемся, в нем цель достигнута...»<sup>5</sup>.

Ясно, что Герцен развивает лучшие традиции классической немецкой (Гёте, Гегель) и русской (Пушкин, Белинский) эстетики, отделяя собственные цели искусства от рассудочных морально-дидактических задач. Когда Герцен говорил об «изящной соразмерности» искусства, то он вовсе не имел в виду только красоту прекрасной формы или самого предмета изображения. Так, гармоничный мир античного искусства, в котором «жизнь ...отрешается от всего возмущающего красоту ее проявления, принимает пластический и

---

<sup>5</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. XVI. С. 135, 137. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы.

музыкальный строй» (V, 51) — это художественное воссоздание той «общественности» (термин Огарева), в которой античный писатель черпал свое вдохновение.

Конечная цель искусства, по Герцену, — это и есть идеал. В его понимании идеал включал в себя единство объективного и субъективного начал. Идеал — объективное воссоздание того, что содержится в самой действительности, так как именно в ней воплощено «вечное всеобщего», говоря словами Гегеля, то есть те «высокие точки» жизни отдельного человека или общества в целом, которые «своим существованием оправдывают и освещают все остальное течение жизни»<sup>6</sup>. Именно потому, что искусство своими средствами утверждает подлинную гуманность, творческий характер свободной деятельности человека, оно и доставляет бескорыстное наслаждение, «достигает цели». Не без воздействия Гегеля Герцен развивал излюбленную мысль о том, что идеал прекрасного идентичен нравственному и общественному. Но несомненно, что в большей степени, чем Гегель, например, Герцен подчеркивал значение субъективного замысла художника, отражающего его мирозерцание. «Человек придает предмету его высокоэстетическое значение или грязно гадкое» (XVIII, 75), — писал он в «Письмах к будущему другу». В герценовском определении искусства как «науки, спаянной со страстью» одинаково важное значение придается и объективному анализу — «науке» и «страсти», то есть субъективному фактору, в основе которого — не только фантазия, эмоция, чувство, но и убежденность, «сознание». Но, соединяя в синтезе, казалось бы, несоединимые понятия — анализ и страсть, Герцен тем самым снова имел в виду самобытность, самостоятельность искусства, не сводимого ни только к первому, ни только ко второму началам. Такое понимание искусства и предопределило герценовский анализ «Отцов и детей», умение разграничить позицию автора и героя, увидеть диалектику художественного образа Базарова.

## 2

В тургеневском Базарове органически сочетаются черты естествоиспытателя-эмпирика и скептика-нигилиста. Соединение этих черт в одном герое казалось многим современни-

---

<sup>6</sup> Лифшиц Мих. Эстетика Гегеля//Эстетика Гегеля и современность. М., 1984. С. 47.



кам Тургенева, в том числе М. А. Антоновичу, автору статьи «Асмодей нашего времени», несовместимым. Но для Герцена такое единство не было странным. Еще в «Письмах об изучении природы», излагая историю материализма, он утверждал, что материализм и скептицизм отнюдь не исключают друг друга. Прочитав роман сразу же, когда он вышел в свет в 1862 году, критик отметил, что Базаров — художественный тип идеолога-шестидесятника, которому свойственно «серьезное, реалистическое, опытное воззрение» (XXVII, 217). При этом Герцен пронизательно увидел существенное отличие автора от героя романа. Вот почему в письме к Тургеневу от 21 (9) апреля 1862 г. содержится упрек: «Вообще мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь с каким-то грубым, хвастливым материализмом, — но ведь это вина не материализма — а тех Неуважай-Корыто, которые его скотски понимают. Идеализм в них — так же гадок» (XXVII, 217).

Под «Неуважай-Корыто» Герцен подразумевал тех либеральных публицистов, которые с конца 50-х и особенно в начале 60-х годов на страницах «Русского вестника», «Современной летописи», «Отечественных записок» и других журналов объявили поход против материалистической философии, пропагандировавшей «Современником» и прежде всего — Чернышевским. Существует мнение, что по тактическим соображениям «издатель «Колокола» не выступил в защиту Чернышевского»: «...Либеральные публицисты, по-видимому, серьезно рассчитывали на поддержку Герцена; своими выступлениями они фактически приглашали издателя «Колокола» к участию в нападках на Чернышевского. В этом смысле молчание Герцена в течение всей обвинительной кампании воспринималось <...> как отказ участвовать в ней»<sup>7</sup>. Действительно, открытой защиты Чернышевского Герцен по вполне понятным причинам предпринять не мог: нельзя было подвергать руководителя «Современника» опасности быть обвиненным в сношениях с «лондонскими пропагандистами».

Но именно в это время в «Колоколе» печатались статьи Герцена с разъяснением самой сути материалистического учения, которые явились как бы своеобразным контраргументом, адресованным и противникам Чернышевского. И недаром в

---

<sup>7</sup> Ярославцев Я. А. А. И. Герцен и М. Н. Катков в годы революционной ситуации // Революционная ситуация в России в середине XIX века: Деятели и историки. М., 1986. С. 106.

упоминавшемся письме к И. С. Тургеневу значились такие строки: «Если б, писавши, <...> ты забыл о всех Чернышевских в мире, было бы для Базарова лучше» (XXVII, 217). Итак, полемические выпады Тургенева против материализма или «реализма», как именуется эта философия в «Письмах об изучении природы», издатель «Колокола» не принял. Все сказанное обязывает нас обратиться к герценовской интерпретации «реализма» в 50—60-е годы, без чего неясно отношение критика к Базарову в это время, а также дальнейшая эволюция его суждений о тургеневском герое и романе в целом.

Разочаровавшись в «разуме истории» после поражения европейских революций 1848—1849 годов, Герцен особенно ценил в «реализме естествознания» критику рационализма, внимание к опыту, к действительности, к «эмбриогении жизни», не совпадающей с «диалектикой чистого разума». С этой стороны он склонен был даже преувеличивать значение открытий, сделанных французскими и английскими позитивистами — О. Контом и Стюартом Миллем, а также немецкими естествоиспытателями и медиками — Фогтом, Бюхнером, Молешоттом как представителями «науки, освобожденной не только от религии, но и от метафизики». По словам современного исследователя, одновременно в статьях Герцена этих лет становится весьма заметной «тенденция к материализму в трактовке общества», проявившаяся «в усилении тех натуралистических нот, которые и раньше имелись у Герцена, а сейчас закономерно зазвенели с новой силой»<sup>8</sup>. В статье «Западные книги» (Колокол. Л. 6, 1857. 1 декабря) критик писал: «Школа Конта, Стюарта Милля, немецких натуралистов и медиков приобрела большую смелость откровенного языка, совершеннолетнюю возмужалость мысли и с тем вместе чрезвычайную даль от общепринятых понятий. Восстановляя сбившуюся с дороги традицию ясных и гениальных умов, как Кант, Биша, Кабанис, Лаплас, наука делается прямо и открыто *антиидеализмом*, сводя на естественное и историческое все богословское и таинственное» (XIII, 95). Герцен намеренно сближал разные философские системы (позитивизм Конта и Ст. Милля, вульгарный материализм ученых и врачей Фогта, Бюхнера, Молешотта, материализм французских деятелей и, наконец, идеализм Канта), чтобы показать их общность только в одном очень важном пункте —

<sup>8</sup> Володин А. И. Герцен. М., 1970, С. 174.

в остром неприятии рационализма или, говоря словами Канта, в «критике чистого разума», в отрицании всякого рода освященных традицией «дорогих предрассудков».

В главе XL «Былого и дум», напечатанной впервые в «Полярной звезде» на 1858 г. с датой «1850—1851», в разделе «Фогты» Герцен с сочувствием писал о «непосредственном реализме» Фогта в противоположность «нелепости дуализма» и «теологическим возражениям». Материализм Фогта он именовал «трезвым совершеннолетием в науке» (X, 171). Примечательно, что в ноябре 1860 г. Герцен предложил Трюбнеру издать в Англии русский перевод «Сущности христианства» Л. Фейербаха. В предисловии к этой книге он писал: «Книги Бюхнера, Молешотта и Фохта читаются русскою молодежью с жадностью. Все эти писатели — ученики Фейербаха, первого мыслителя нашей эпохи, потому надобно ожидать, что перевод капитального его творения будет принят между молодым поколением с тою симпатиею, которой заслуживает оно своим великим научным достоинством» (XXX, 883).

Об увлечении передовой русской молодежью в 50—60-е годы сочинениями Л. Фейербаха Герцен был осведомлен с помощью Я. Ханькова, с которым он состоял в переписке. Я. Ханьков, двоюродный брат петрашевца А. Ханькова, последователь материалистического учения Белинского и Герцена, в 60-е годы был лично знаком с Л. Фейербахом, предполагал даже перевести его сочинения на русский язык<sup>9</sup>. Возможно, что одним из источников, откуда Герцен черпал приводимые им факты, были также статьи Н. Добролюбова. Так, например, еще в 1858 г. в рецензии на сочинение профессора-идеалиста В. Берви «Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни» (Современник. 1858. № 3) Добролюбов писал: «Молодые люди ныне <...> читают Молешотта, Дюбуа-Реймона и Фохта, да и тем еще не верят на слово, а стараются проверять и даже дополнять их собственными соображениями. Нынешние молодые люди если уж занимаются естественными науками, то соединяют с этим и философию природы, в которой опять

---

<sup>9</sup> Лит. наследство. М., 1955. Т. 62. С. 706. Подробнее о чтении и распространении сочинений Л. Фейербаха в России среди передовой молодежи 60-х годов см.: Володин А. И. Из истории русско-немецких философских связей 40—70-х годов XIX в. // Историко-философский ежегодник-86 // Отв. ред. д-р философ. наук Н. В. Мотрошилова. М., 1986. С. 154—173.

следуют не Платону, не Окену, даже не Шеллингу, а лучшим, наиболее смелым и практическим из учеников Гегеля»<sup>10</sup>. Под таким «учеником», несомненно, подразумевался Л. Фейербах. Знание Герценом этой рецензии было тем более вероятно, что она вошла в первый том Сочинений Добролюбова, изданных Н. Г. Чернышевским в 1862 году.

Несколько лет спустя в «Колоколе» от 1 июня 1867 г. Герцен в заметке «Положительная философия» приветствовал появление журнала «Revue de la Philosophie positif», издаваемого Г. Вырубовым и Э. Литтре. О. Конт в программе нового издания, опубликованной в «Колоколе», именовался «великим мыслителем». В письме к Г. Вырубову от 17(5) мая 1867 г. Герцен писал: «...с искренним желанием успеха прочел вашу программу. Во имя науки, освобожденной не только от религии, но и от метафизики, можно идти на проповедь» (XXIX, 100). Таким образом, в учении позитивистов и немецких естествоиспытателей Герцену импонировали вера в научное знание как условие общественного прогресса, установка на осмысление конкретных фактов, критика всякого рода априорных систем и догм. Все эти черты Герцен ценил и в Базарове, не соглашаясь с Тургеневым, когда тот отказывал Базарову как материалисту, последователю Бюхнера, в гуманизме. «Что воротило в нем назад все нежное, экспансивное?.. Не книга же Бюхнера?» (XXVII, 217), — спрашивал Герцен автора романа.

Итак, по мнению Герцена, Бюхнер, Фогт, Мошотт — это ученики Фейербаха, а прямыми предшественниками последнего он считал французских материалистов XVIII века, истоки гуманного воззрения которых он возводил к сенсуализму Бэкона и Локка. В письме восьмом «Писем об изучении природы» под названием «Реализм» так раскрывалась гуманная сущность материализма: «...философы доказали, что эгоизм — один из необходимых элементов всего живого, сознательного, и, оправдывая его, раскрыли, что человеческий эгоизм — не только чувство личной любви к самому себе, но, сверх того, чувство любви к роду, к человечеству, к ближнему» (III, 312).

---

<sup>10</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 328—329. См. также: Володин А. И. Николай Добролюбов и Людвиг Фейербах // Философ. науки, 1986. № 4.

Герценовскую систему мыслей о гуманизме этой линии философского материализма полностью разделял и Чернышевский. В «Полемиических красотах» (1861) он упомянул в качестве своих европейских философских предшественников Аристотеля, Бэкона, Гассенди, Локка и Фейербаха, а говоря о русских, назвал Белинского и автора «Писем об изучении природы» (VII, 761, 769, 771—772). Так, приведя цитату из «Отечественных записок», где небезызвестный идеалист Юркевич ставился «на первое место между всеми, кто когда-либо писал у нас о философии», Чернышевский многозначительно вопрошал: «...значит, выше Белинского, у которого очень много относящегося к философии, выше автора «Писем об изучении природы»? (VII, 761). Не менее важно и то обстоятельство, что Чернышевский не протестовал против наименования антропологической теории, которую он излагал в своих статьях, в частности, в «Антропологическом принципе в философии» (1860), «философией реализма», «философией опыта». Чернышевский утверждал (преуменьшая, конечно, свои заслуги), что в этих своих работах он лишь «популяризовал» «теорию естествоиспытателей», то есть философию материализма (VII, 768)<sup>11</sup>.

Справедливости ради следует сказать, что и в то время Герцен не мог принять отрицания позитивистами возможности познания «сущности» и «причинности» явлений. Пренебрежительное отношение вульгарных материалистов к теории, к философии, вскрывающим законы необходимости, критик отвергал. Даже в пору активной переписки и дружбы с Фогтом в 50-е годы, он с сожалением отмечал, что немецкому естествоиспытателю свойственно было «непреодолимое отвращение» к «философии» (X, 170), роль которой Герцен высоко ценил, хотя и отвергал гегелевское «мистическое верование в прогресс». Эту разницу между собой и Герценом хорошо понимал и Фогт, шутливо упрекавший своего друга в том, будто бы он сохранил еще «остаток философско-теологического воспитания». В письме к Герцену от 26 января 1855 г. Фогт также шутливо, но не без основания, сетовал

---

<sup>11</sup> Г. В. Плеханов в своих «Очерках по истории материализма» (1896) убедительно доказал, что философия французских просветителей, особенно в сфере этики и философии истории, является предшественницей материалистической теории Чернышевского как в сильных, так и в слабых ее сторонах: Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М., 1956. Т. 2. С. 50, 96.

на судьбу, разлучившую его с двумя друзьями — Герценом и Энгельсоном, «которые так превосходно обходятся с категориями и прочими невразумительностями философского и гегельянского языка»<sup>12</sup>.

И здесь взгляды Чернышевского объективно пересекались с воззрениями Герцена. Так, например, в «Полемических красотах» (1861) Чернышевский, прибегая к излюбленному им иносказанию, предлагал читателю догадаться, что «основателем теории», которой он «держался», был Фейербах, но «не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауер, не Моле-шотт, не Фохт» (VII, 772). За этими словами скрывалась, очевидно, косвенная негативная оценка той стороны концепции вульгарных материалистов, которая не импонировала и Герцену<sup>13</sup>. Некоторая общность позиций Герцена и Чернышевского в их оценке «опытного, реалистического воззрения» является несомненным доказательством того, что, защищая Базарова как эмпирика-материалиста, Герцен тем самым отстаивал перед Тургеневым значимость своих собственных убеждений и убеждений «Современника». Конечно, упоминавшееся письмо Герцена к И. С. Тургеневу не было предназначено для широкого распространения, хотя Герцен не исключал возможности его прочтения друзьями писателя, например, П. В. Анненковым или В. П. Боткиным, в кругу которых «Отцы и дети» обсуждались еще до их публикации.

### 3

Когда же в центре внимания Герцена оказалась другая грань интеллектуального мира Базарова — его скептицизм, то критик никак не соглашался видеть в этой черте постоянный признак материалистического воззрения. Вот почему его полемика с Тургеневым постепенно приобретает все более острые формы. Переосмысление Герценом образа Базарова и романа Тургенева в целом связано было с преодолением слабых сторон антропологической концепции личности и истории.

---

<sup>12</sup> Письма К. Фогта Герцену от 26 июля 1854, от 26 января 1855// Лит. наследство. М., 1985. Т. 96. С. 123, 130.

<sup>13</sup> Подробнее об антипозитивистской позиции Н. Г. Чернышевского, использовавшего диалектику Гегеля в обосновании социализма см.: Володин А. И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973. С. 204—216.

До сих пор не было обращено должного внимания на слова Герцена о том, что уже первое письмо цикла «Концы и начала» было написано «по поводу «Отцы и дети» и Тург <енева>» (XXVII, 245). Известно, что нигилизм в трактовке Тургенева включал в себя скептическую философию. Но с такой точкой зрения Герцен не соглашался. «Останавливаться на <...> печальных приведениях всего на свете к нулю не следует — ты же назовешь эдак *нигилистом*, а нынче это крепкое слово, заменившее гегелистов, байронистов и пр.» — писал Герцен, обращаясь к Тургеневу (XVI, 134). Последние слова, безусловно, намек на «Отцов и детей», в частности на фразу, которую произносит Павел Петрович: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты»<sup>14</sup>. Тем самым подчеркивался полемический смысл рассуждений Герцена, направленных против автора «Отцов и детей». Скептицизм в «Концах и началах» определялся как «неверие в жизнь». И не случайно в письме седьмом этого же цикла появляется образ скептика Евгения Николаевича, мертвенность воззрения которого подчеркивается и его внешним обликом: в нем было, по словам автора, «что-то неживое». Да и «философия» Евгения Николаевича напоминает печальные размышления Базарова о «белой избе» Филиппа или Сидора, которую он, Базаров, не увидит. («Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет»)<sup>15</sup>. Такова притча Евгения Николаевича о слепом кроте, который «роется день и ночь, без устали, без рассеяния, с страстной настойчивостью». «Каково соотношение между усилиями и достигаемым? Ха-ха-ха! Самое смешное-то в том, что выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стоившие ему труда целой жизни, он не может их видеть, бедный крот!» (XVI, 192). Скептической теории бездействия Герцен противопоставил свою концепцию жизни — философию действия. Полемический подтекст заключительных слов седьмого письма совершенно очевиден: «...надобно набрать <...> свежие силы на кротовую работу — лапы чешутся» (XVI, 192).

Спор с Тургеневым Герцен продолжил в статье «Новая фаза в русской литературе» (1864). Ошибка Тургенева, по мнению Герцена, и в том, что термином «нигилизм» он обоз-

---

<sup>14</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1964. Т. VIII. С. 216.

<sup>15</sup> Тургенев И. С. Указ. соч. Т. VIII. С. 325.

начил материализм как мировоззрение в целом, сомкнувшись тем самым с реакцией 60-х годов — «московскими доктринарами», то есть Катковым и его единомышленниками. Снова беря под защиту материализм, Герцен в этой статье нарисовал замечательный портрет Белинского, видя именно в нем, а не в скептиках подлинного представителя разночинцев-материалистов, Белинского, возглавившего умственное движение 40-х годов и проложившего дорогу Чернышевскому и другим «новым людям» 60-х годов. Теперь Герцен отказывает Базарову в типичности, назвав его «неправдоподобным «нигилистом».

За пределами внимания исследователей оказалось сравнение Базарова в статье «Новая фаза в русской литературе» с племянником Рамо из повести Дидро «Племянник Рамо». Это сравнение содержится в следующих словах Герцена: «Тургенев сделал из своего нигилиста «брюзгу-племянника», наделенного кучей всевозможных пороков, — пороков, которые он боится исследовать глубже наружного их покрова» (XVIII, 218). И далее Базаров назван «наглецом». Причем это слово вместе с «брюзгой-племянником» выделено курсивом как «чужое слово» или скрытая цитата. Просвещенному читателю они должны были напомнить о Рамо, который сам себя именовал «наглецом», «отъявленным негодяем», «наглым болтуном»<sup>16</sup>. Под «всевозможными пороками» Базарова Герцен, очевидно, подразумевал его доходящий до цинизма нигилистический смех над теми ценностями, которые представляли собой достижения человеческой культуры: искусством, философией, наукой. Непонимание значения искусства, по мнению Герцена, это «точка зрения сурового цинизма и аскетической демагогии», признак духовной ограниченности. Сравнение Базарова с племянником Рамо имело и дополнительный полемический смысл. Теперь Герцен обнажил бедность методологии «философии эмпиризма», которую разделяли просветители, в том числе Дидро, и которую в шутовской форме проповедовал Рамо. В качестве единственной жизненной опоры взамен отрицаемых им философии, науки, нравственных принципов, Рамо, как известно, признавал лишь чувственные наслаждения. Он стоял на точке зрения случайности, отрицая мудрость природы и разумную необ-

---

<sup>16</sup> Дидро Д. Племянник Рамо/Вст. ст., примеч. В. Бахмутского. Пер. А. Федорова. М., 1980. С. 107.



ходимость истории. «Распоряжаются нами проклятые случайности и распоряжаются весьма плохо»<sup>17</sup>, — говорит Рамо. Точно так же и скептик Базаров отвергал закономерность миропорядка — природного и исторического. Достаточно вспомнить его протест против несоразмерности человека, «атома, этой математической точки», занимающей «узенькое местечко», и «остального пространства, где, — говорил он, — меня нет и где дела до меня нет», его рассуждения о случайности человеческого бытия, «ничтожного перед вечностью»<sup>18</sup>. Из этой концепции и вытекало скептическое отношение героя Тургенева к всякой теории («философии»), способной объяснить мир.

Такая жизненная позиция, явившаяся в какой-то мере эквивалентом разделявшейся просветителями эмпирической точки зрения, казалась Герцену явно недостаточной. В эту пору проблема соотношения закономерности и случайности, исторической необходимости и свободы решалась им уже иначе и намного сложнее, чем, например, в середине 50-х годов. Тогда Герцен настаивал на том, что ход истории непредсказуем никакой теорией, утверждал, что «истина историческая» «сверх диалектического развития <...> имеет свое страстное и случайное развитие», «что, сверх своего разума, она имеет свой роман» («Былое и думы», «Западные арабески», 1856). Тогда и скептицизм узаконивался им как проявление «иронии», с помощью которой «современный человек» «метет осколки разбитых кумиров» (X, 118). Именно такой скептицизм свойствен был, по мнению Герцена, Дидро и английским мыслителям — Гоббсу, Юму, которых он считал предшественниками (в какой-то мере) материалистической философии Фейербаха. В 60-е годы Герцен пытался осознать историческую закономерность как процесс, как единство необходимости и случайности, причем случайность он пронизательно считал не только проявлением необходимости, но и сущностью уже нового закона. Вот почему и просветительский эмпиризм и скептицизм Базарова Герцен принимал только как переходное состояние на пути к другому, более зрелому воззрению. Эта мысль прямо содержится в словах о молодости Базарова, за которым «еще видна школьная дверь, только что закрывшаяся за ним» (XVIII, 219). И в ранней смерти База-

<sup>17</sup> Дидро Д. Племянник Рамо. С. 354.

<sup>18</sup> Тургенев И. С. Указ. соч. Т. VIII. С. 323.

рова критик увидел не знак трагизма его судьбы, но лишь следствие незавершенности самого «типа русского передового молодого человека»: «автор отделяется от него на манер Брута — убивает его тифом» (XVIII, 218). Очевидно, что Герцен недостаточно глубоко понял замысел Тургенева, который гибелью своего героя утверждал не только историческую преждевременность появления Базаровых, но и их «величие и достоинство»<sup>19</sup>. Но сам факт неполного совпадения оценок образа Базарова у Тургенева и Герцена отражал разницу в их отношении к просветительскому мировоззрению, некоторые стороны которого Герцен подверг теперь серьезному пересмотру.

Сравнение Базарова с героем повести Дидро подчеркнуло и глубокий философский смысл образа тургеневского героя, а также всего романа в целом. Тем самым «Отцы и дети» были пронизательно поставлены в русло философской традиции, начатой еще французскими писателями эпохи Просвещения. Этот жанр близок был и самому Герцену, автору «Кто виноват?», «Доктора Крупова» и, наконец, «Былого и дум», работа над которыми продолжалась еще в 60-е годы. Однако теперь Герцену кажется недостаточным такой способ создания художественных образов, когда они слишком явно подчинены авторской теоретической мысли. Еще в письме Тургеневу от 21 (9) апреля 1862 г. Герцен назвал такой способ воплощения позиции автора «Tendenzschrift», а в статье «Новая фаза в русской литературе» он упрекнул создателя Рудина, Инсарова и Базарова в том, что «его герои превращались мало-помалу из живых людей, какими они были раньше, в носителей мысли, скрытой за кулисами» (XVIII, 216). В данном случае речь идет не о том, что герои Тургенева — всего лишь рупоры авторской идеи и волей автора лишены спонтанного саморазвития — признака подлинной художественности. Герцен всегда считал Тургенева большим талантом: «Тургенев очень умный человек, у него бездна образования, такта и вкуса» (XVIII, 73). Не случайно в письме к нему критик писал, что, хотя писатель «сильно сердился на Базарова — с сердец карикировал его, заставлял говорить нелепости», Базаров «все-таки подавил собой — и пустейше-

---

<sup>19</sup> Подробнее о значении финала «Отцов и детей» см.: Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962. С. 165—166; Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века: (30—50-е годы). Л., 1982. С. 186—203.

го человека с душистыми усами, и размазю отца Арк<а-  
дия> и бланманже Аркадия» (XXVII, 217).

Говоря о «Tendenzschrift», Герцен ставил важный для философской прозы вопрос о мере проникновения философской мысли в художественный образ. Сама эта возможность для него, писателя-мыслителя, являлась бесспорной. Но он озабочен был тем, чтобы философская идея носила объективный, «истинный» характер, отражала бы логику развития самой действительности и тем самым помогала ее познанию. Отвергая субъективизм в понимании исторического прогресса, Герцен предупреждал и об опасности его в литературе.

#### 4

Концепция Герцена становится особенно ясной в сравнении с суждениями критиков его времени о романе Тургенева.

Писаревская апология Базарова как естествоиспытателя-эмпирика, как личности, достигшей «полного самоосвобождения, полной osobности и самостоятельности», отражала своеобразие не только социологических, но и философских воззрений критика «Русского слова», провозгласившего развитую личность единственным источником общественного прогресса. Оправдание скептицизма Базарова поддерживалось у Писарева и его отрицательным отношением к философии («теории»), что вытекало из преувеличения критиком роли естественных наук в познании природы и общества: «Теперь интерес к естественным наукам пробуждается, мелочи перестают считаться бесполезными и незанимательными, анализ подробностей разрушает туманные теории и звонкие фразы, и здание антропологии, над фундаментом которого работают люди, подобные Фохту и Молешотту, основывается на твердых фактах, на неопровержимых данных непосредственного опыта и точного наблюдения»<sup>20</sup>. Причем под «теориями» подразумевались всякого рода априорные логические построения, к которым причислялась и философия Гегеля, «стеснявшая» значение личности.

Распространяя антропологический метод на литературу, Писарев ценил в художественных произведениях прежде всего сами факты реальной жизни, «объективный рассказ», как, например, в «Отцах и детях» Тургенева, и это обстоятельство

---

<sup>20</sup> Писарев Д. И. Соч.: В 6 т. СПб., 1909. Т. 1. С. 383.

позволяло ему «не принимать в соображение» «мнения и суждения самого автора», поскольку они выражены «не в лирических отступлениях», но «в неподражаемо живых образах»<sup>21</sup>. При этом литературе критик отводил роль посредницы между наукой («знанием») и читательской публикой, роль «могущественного орудия реализма». Не случайно 60-е годы отмечены несомненным интересом к деятельности европейских просветителей, особенно Дидро и Лессинга: широкое распространение в России имели труды о них французских и немецких авторов. Обширный перечень этих трудов приводит, например, П. Лавров в своей статье «Дидро и Лессинг» (1868)<sup>22</sup>.

Интересно, что в декабре 1867 г. Писарев работал над статьей «Дидро и его время», предназначавшейся для «Отечественных записок» Некрасова. Эта статья осталась незаконченной и ненапечатанной. В сопроводительной статье Е. Казанович к дошедшему до нас ее варианту говорится, что идеологическая позиция Писарева представлена в ней расплывчато и неопределенно<sup>23</sup>. Вряд ли можно согласиться с этим мнением. Безусловно, статья Писарева носит во многом компилятивный характер. И тем не менее в ней заметно стремление выделить те положения философии Дидро, которые так или иначе были значимы для русского критика-просветителя: это защита опыта, разума, «строго научного доказательства», сочувственное отношение к скептицизму, не чуждому и Дидро. Вместо работы Писарева в «Отечественных записках» (1868, № 1) была опубликована статья П. Л. Лаврова, где оба мыслителя рассматривались как наиболее крупные фигуры французского и немецкого Просвещения. У французских просветителей Лавров, подобно Писареву, ценит те принципы, которые были созвучны и русским «шестидесятникам»: осознание «опыта как источника всего знания», «разума как судьи всего», «литературы как орудия действия на большинство для определенных целей»<sup>24</sup>.

М. Антонович занял иную, чем Писарев, позицию. Эстетическая сущность искусства, если и не отрицалась критиком «Современника», то по сути дела растворялась в «дру-

---

<sup>21</sup> Писарев Д. И. Базаров//Соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 8.

<sup>22</sup> См.: Лавров П. Дидро и Лессинг//Отечественные записки. 1868. № 1.

<sup>23</sup> Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 648.

<sup>24</sup> Отечественные записки. 1868. № 1. С. 209.

гих разумных потребностях», свойственных человеку. Тем самым вольно или невольно не признавалось право писателя на индивидуальное художественное восприятие мира, если оно не совпадало с взглядами литературного критика, с его представлениями о том, что и как писатель должен отражать в своем творчестве. Все это и привело критика «Современника» к полному непониманию романа Тургенева, к отрицательной оценке Базарова как карикатуры на молодое поколение 60-х гг.

Концепция Антоновича далеко не совпадала с эстетикой и методом литературной критики Чернышевского. Литературно-теоретические воззрения Чернышевского достаточно глубоко исследованы в трудах Плеханова, позднее А. Лаврецкого, В. Асмуса, В. Г. Астахова, Б. Ф. Егорова, М. Г. Зельдовича. Остановимся только на двух моментах. Антонович полагал, что основой эстетики Чернышевского, учеником которого он себя называл, является только философия Фейербаха.

Но в числе своих предшественников Чернышевский называл и Гегеля, теорию которого Антонович постоянно критиковал в журнальной полемике с представителями «чистого искусства» и «почвенниками», например с Н. Страховым. Отношение к «Лекциям по эстетике» Гегеля у Чернышевского было сложным: отвергая некоторые идеалистические положения немецкого философа (например, в трактовке прекрасного, трагического и возвышенного), Чернышевский признавал ценность теории Гегеля для развития реализма в России и на Западе.

И второй момент, где Чернышевский расходился с Антоновичем. Споря со сторонниками «беспристрастного» анализа литературы (А. Дружининым, В. Боткины), Чернышевский утверждал органическое единство эстетического и публицистического начал в истолковании и оценке художественных произведений, отстаивал первостепенную роль творческой индивидуальности критика в процессе познания и объяснения не только искусства, но и самой жизни, послужившей предметом изображения писателя. Но при этом Чернышевский не игнорировал художественный мир и типы, созданные писателем, о чем свидетельствуют его разборы сочинений Гоголя, Писемского, Тургенева (например, в «Русском человеке на rendez-vous»), Н. Успенского и других художников слова.

И все-таки статья Антоновича была, очевидно, одобрена Чернышевским. В работе В. А. Мыслякова «Чернышевский

и Тургенев («Отцы и дети» глазами Чернышевского»)» приводятся убедительные доказательства в пользу мысли о том, что Антонович и другие сотрудники «Современника», отрицая типичность Базарова, выступали в защиту Добролюбова, искаженный портрет которого они увидели в тургеневском герое<sup>25</sup>. Но следует подчеркнуть и еще один важный теоретический момент, отразившийся в оценке романа «Современником» и «Русским словом». Таким пунктом спора был коренной вопрос о связи субъективного и объективного факторов в общественном развитии, точнее — вопрос о свободе воли и свободе нравственного выбора. Антонович полемически и не без основания отделял решение этой проблемы «Современником», в том числе и Чернышевским, от концепции «Русского слова», выдвигавшего на первый план «личность и прежде всего личность», а следовательно, и «свободу выбора». Именно поэтому на страницах «Современника» «Русское слово» обвинялось в идеализме, свободе же выбора противопоставлялась «сила вещей»<sup>26</sup>. Когда в либерально-охранительных «Отечественных записках» автору «Полемических красот» был брошен упрек в том, что он «не понял Бокля», Антонович назвал Чернышевского и себя последователями Бокля как материалиста, по мнению которого действия людей «определяются постоянными законами», а не «свободной волею и «сверхестественными вмешательствами»<sup>27</sup>. Журналисты «Современника» даже пустили в ход термин «базаровство», отождествив его с «хлестаковщиной» на том основании, что Базаров в своем поведении руководствовался исключительно «свободой воли». Вот почему поддержка «базаровства» и вменялась в вину «Русскому слову»<sup>28</sup>.

Еще Плеханов в своих «Очерках по истории материализма» (1896) убедительно показал, что русские просветители так же, как и их ближайшие предшественники, философы

---

<sup>25</sup> Чернышевский Н. Г. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979. С. 137—168. Ср.: Буданова Н. Ф. Тургенев и Добролюбов: У истоков образа Базарова//И. С. Тургенев в современном мире/Отв. ред. С. Е. Шаталов. М., 1987. С. 136—145.

<sup>26</sup> Жуковский Ю. Г. Прудон и его экономическая система противоречий//Современник. 1865. № 2. Отд. II. С. 185—222.

<sup>27</sup> Антонович М. Добросовестные мыслители и недобросовестные журналисты//Современник. 1865. № 8. Отд. II. С. 233.

<sup>28</sup> Жуковский Ю. Г. Миль, перевернутый «Русским словом» (Посвящается «Московским ведомостям»)//Современник. 1865. № 8. Отд. II. С. 220.

XVIII в., не могли разрешить антиномию: «с одной стороны, человек есть продукт окружающей его социальной среды», с другой стороны, «социальная среда» создается «общественным мнением..., т. е. человеком». Для преодоления этого противоречия нужно было, по словам Плеханова, покинуть точку зрения естествознания (отбросить антропологический метод, говоря иначе) и стать на точку зрения «социальной науки»: «нужно было понять, что социальная среда имеет свои собственные законы развития, которые вовсе не зависят от человека»<sup>29</sup>. Сделать такой шаг вперед удалось, как известно, только Марксу и Энгельсу и их последователям. Антоновичу в силу механистичности его мышления не свойственна была та глубина раздумий над решением означенной проблемы, которая отличала теоретические искания Чернышевского и Герцена.

Не входя здесь в подробное разъяснение оттенков философских воззрений Антоновича и Чернышевского, скажем только, что, например, отношение Чернышевского к Боклю, английскому историку позитивистского толка, было сложнее, чем об этом говорил Антонович. Чернышевский высоко ценил опору Бокля на просвещение, научный прогресс, но он же упрекал Бокля в том, что тот мыслил «слишком догматически» и недооценивал значение экономического фактора в развитии общества<sup>30</sup>. Но Чернышевский не мог не согласиться с Антоновичем, когда он, выходя за пределы романа Тургенева и образа Базарова, предупреждал об опасности субъективизма и волюнтаризма в теоретической и практической сферах. Короткие замечания Чернышевского об «Отцах и детях» содержатся в его не опубликованной при жизни статье «Безденежье», предназначавшейся для апрельского номера «Современника» (1862 года). «...Что это за лица, — писал Чернышевский о нигилистах в романе Тургенева, — подразумевая, конечно, Базарова, — исхудалые, зеленые, с блуждающими глазами, с искривленными злобной улыбкой ненависти устами, с невымытыми руками, с скверными сигарами в

---

<sup>29</sup> Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т. М., 1956. Т. II. С. 73, 78.

<sup>30</sup> См. статьи Чернышевского: «Нынешние английские виги» (1860), «Пolemические красоты» (1861), «Не начало ли перемены?» (1861), замечания на книгу Т. Г. Бокля «История цивилизации в Англии» (1860—1861). См. также: Шкуринов П. С. Позитивизм в России XIX века. М., 1980. С. 134—142.

зубах? Это — нигилисты, изображенные г. Тургеневым в романе «Отцы и дети». Эти небритые, нечесанные юноши отвергают все, все! Отвергают картины, статуи, скрипку и смычок, оперу, театр, женскую красоту, — все, все отвергают, и прямо так и рекомендуют себя: мы, дескать, нигилисты, все отрицаем и разрушаем» (X, 185). Чернышевский, очевидно, уже познакомился со статьей Писарева и протестовал против субъективизма и скептицизма Базарова, которые Писарев защищал. Мнения других сотрудников «Современника» (Салтыкова-Щедрина, Г. Елисеева) по существу имели тот же смысл, что и замечания Чернышевского и обуславливались стремлением оспорить элементы позитивизма, которые были свойственны программе «Русского слова».

Критики либерального лагеря в большинстве своем увидели в авторе «Отцов и детей» «более мыслителя, чем художника». На страницах «Северной пчелы»<sup>31</sup>, «Отечественных записок»<sup>32</sup> и «Дня»<sup>33</sup> варьировался на разные лады один и тот же тезис: проникновение в художественный образ философских и социальных идей влечет за собой нарушение законов искусства. Вот почему роман Тургенева назывался «эффемерным», «однодневным».

Наибольший интерес представляют суждения П. В. Анненкова, к чьим советам Тургенев, как известно, охотно прибегал в процессе создания своего романа. В высказываниях П. Анненкова следует различать две стороны: характеристику поэтики «Отцов и детей», хотя и не очень полную, и оценку художественного смысла образа Базарова. В статье «Русская беллетристика в 1863 году. — Г-н Помяловский» (1863) критик назвал образы Обломова и Базарова «понятиями-типами». Конечно, само сближение разных по своей сути и способу художественной обрисовки характеров было рискованным и просто неверным. Но в данном случае важно другое. Анненков фиксировал зависимость эстетических представлений критиков от развития литературы и в этой связи

---

<sup>31</sup> Тур Евгений. Несколько беглых заметок после чтения романа г. И. Тургенева «Отцы и дети»//Северная пчела. 1862. № 91. 4 апреля. С. 361.

<sup>32</sup> Зарин Е. Ф. Предисловие к литературному обозрению. О качестве и количестве прогресса в новейшем движении нашей литературы//Отечественные записки. 1865. Т. 158. № 2. С. 697—698.

<sup>33</sup> Павлов Н. М. Журнальные заметки//День. 1865. № 5. 30 января. С. 119; День. 1865. № 17. 24 апреля. С. 407; Е го же: Текучая беллетристика//День. 1864. № 31. 1 августа. С. 17.



протестовал против «старой эстетической рутины, которая не в силах понять новых форм создания, возникающих у писателя вместе с новыми задачами»<sup>34</sup>. Только с позиций «одностороннего пуризма» философская мысль разрушает искусство. Не соглашаясь с этой точкой зрения, Анненков признавал возможность существования таких художественных образов, «которые несколько не стыдятся и не могут стыдиться своего происхождения от мышления»<sup>35</sup>. Когда критик говорил, что «мысль автора служит им балластом и придерживает к месту, откуда они поднялись», то он имел в виду, что не спонтанное саморазвитие определяло их сущность, но авторская концепция мира. При этом критик тщательно отделял «понятия-типы» от «мертворожденных» «дидактических типов», которые были даны не самой жизнью, «но придуманы помимо ее». Тем самым роман Тургенева причислялся к философскому жанру. Другое дело, что сам этот жанр Анненков считал лишь своеобразной данью времени и предпочитал другой тип романа, где «все превращения» «лиц и образов» «имеют достаточные основания и вышли из намеков и указаний, какие уже заключались и прежде в характерах и предметах», где «нигде не видно ничего произвольного и самовластного в придаточных чертах». К таким произведениям Анненков впоследствии относил роман Л. Толстого «Война и мир».

Что же касается оценки самого характера Базарова, то, в отличие от Герцена, Анненков не увидел в нем цельности и многозначность образа Базарова принял за проявление двойственности натуры самого героя. «У него два лица, как у Януса, — писал Анненков Тургеневу 26 сентября (8 октября) 1861 года, — и каждая партия будет видеть только тот фас, который ее наиболее тешит или который она разобрать способнее»<sup>36</sup>. В отсутствии определенной ясности по отношению к Базарову обвинялся и сам автор романа<sup>37</sup>. Для Анненкова Базаров воплощал в себе только «бесплодие» как следствие его неверия «в науку и в историю». Анненков сде-

---

<sup>34</sup> Анненков П. В. «Война и мир». Роман гр. Л. Н. Толстого: Исторические и эстетические вопросы//Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки: 1849—1868. СПб. 1879. Отд. 2. С. 375.

<sup>35</sup> Анненков П. В. Русская беллетристика в 1863 году. Г-н Помяловский//Там же. С. 247.

<sup>36</sup> Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 533.

<sup>37</sup> Там же.

лал Тургеневу существенное замечание, которое писатель учел в окончательной редакции романа. «...Вы сумели действительно кинуть на Базарова плутарховский оттенок, благодаря тому, что не дали ему даже «жгучего, болезненного самолюбия», отличающего все поколение нигилистов»<sup>38</sup>.

Тургенев действительно усилил у Базарова по совету Анненкова «жгучее самолюбие». Но почему критик так настаивал на этом? «Ядовитое самолюбие» — не просто чувство собственного достоинства. Это сознание превосходства своей личности над другими, философское обоснование которого давала «новейшим отрицателям» антропологическая концепция человека и истории. Переведенная на язык практического действия, она, как считал критик, неизбежно вела к отрицанию завоеванных цивилизацией «принципов» и прежде всего принципа гегелевской разумной необходимости, то есть подчинения личного общему. Не случайно он упомянул в том же письме к Тургеневу, хотя и по другому поводу, гегелевское словечко («это, говоря совершенно по-гегелевски, шлехте реалитэт»): гегелевские философия и эстетика были не только «в уме», но и «на языке» критика.

Опасаясь радикальных форм активного действия, Анненков противопоставлял им созерцательное постижение истории. В отличие от Герцена, верившего в личность как силу, способную изменить мир, он по сути дела отстаивал гегелевское представление о субъекте истории в той мере, в какой этот субъект оказывался лишь орудием абсолютной идеи.

Что же касается одного из главных антагонистов Герцена М. Каткова, то он и не пытался понять роман Тургенева как художественное целое. Нигилизм Базарова он отождествил с вульгарным материализмом, доходящим до абсурдного утверждения: «Человек и лягушка — в сущности одно и то же»<sup>39</sup>. Выпады Каткова против Базарова преследовали прежнюю цель: ниспровергнуть мировоззрение русских материалистов, особенно Чернышевского, поход против которого, как уже говорилось, был объявлен «Русским вестником» задолго до появления «Отцов и детей».

Хорошо осведомленный о борьбе критических мнений вокруг «Отцов и детей», Герцен в статье «Еще раз Базаров» (1868) отверг суждения критиков, которые либо противопо-

<sup>38</sup> Там же. С. 534.

<sup>39</sup> Катков М. О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева// Русский вестник. 1862. Т. 40, № 7. С. 406.

ставляли «ум» и «талант» Тургенева, либо считали, что философское начало и подлинная художественность несовместимы. К мнениям такого рода и относятся слова Герцена: «Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую» (XX, 339). Снова показав ограниченность антропологического метода, в том числе писаревского, Герцен оставался на позициях действительного отношения личности к миру<sup>40</sup>. Здесь его концепция существенно отличалась от суждений Анненкова и тем более Каткова и объективно соотносилась в некоторых моментах с точкой зрения Чернышевского.

**В. В. ИВАННИКОВА**

### **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ГИЗО**

Мысль В. И. Ленина о том, что Россия буквально «выстрадала» марксизм, может быть с полным основанием применена к развитию русской исторической науки<sup>1</sup>. Длинный путь развития русской историографии оказался теснейшим образом связи с поисками передовой мыслью России «правильной революционной теории». И хорошо понятна необходимость исследования этого пути, по которому общественная мысль России в лице Чернышевского приблизилась к выводам исторического материализма.

В России это был путь не только социально-политической и исторической науки, но и путь русской литературы и литературной критики. Система доводов в решении насущных социально-политических и исторических проблем долго опиралась не только на явления повседневной жизни русского общества и его исторического прошлого, но и на факты осмысления этих явлений русской литературой.

Развитие художественной литературы и исторической науки в России, как известно, с 20-х годов XIX столетия про-

---

<sup>40</sup> Подробнее об этом см.: Антонова Г. Н. Роман «Что делать?» в оценке Герцена//Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1983. Вып. 9. С. 64—69.

<sup>1</sup> Ср.: Далин В. М. Ф. Гизо и развитие исторической мысли в России//Далин В. М. Люди и идеи. М., 1970. С. 358.

исходило под сильнейшим влиянием западноевропейских исторических теорий. Особенно сильным и долговременным явилось увлечение историческими идеями Гизо. Гизо в России — это и комплекс определенных исторических идей, и определенный способ художественного осмысления действительности. Под воздействием лекций Гизо и других французских историков художественная литература как в Европе, так и в России выбирает предмет своего вдохновения историю и решение философско-исторических проблем и становится одним из средств осмысления исторических судеб человечества. Исторические взгляды Гизо воспринимаются в единстве с его теорией драмы. А трактовка, данная им творчеству Шекспира, была прекрасно известна в России еще с 20-х годов и оказала свое влияние на формирование художественных критериев русской литературной критики. Достаточно упомянуть о концепции личности Гамлета в статьях Белинского, который не раз апеллировал к характеристикам Гизо в собственных оценках шекспировского творчества<sup>2</sup>. Естественно поэтому, что судьба исторических идей Гизо в России не может рассматриваться в отрыве от судеб русской литературы.

В 20—30-х годах XIX в. знакомство русского читателя с Гизо — это прежде всего открытие новых вопросов, обращенных к истории, открытие нового содержания исторического исследования. Основные особенности исторического метода Гизо и других представителей новой французской историографии раскрывались русскими журналами с достаточной степенью осведомленности уже в 30-е годы.

«История европейской гражданственности Гизо» состоит в том, разъясняет «Московский телеграф», чтобы сводить «все события на причины» и открывать «связь сих причин с другими, поясняя причины событиями»<sup>3</sup>. Это же качество восхищает автора «Московского наблюдателя»: «Отвлечение от истории составляет самую блистательную часть умозрения, торжество ума, победу духа над материалом»<sup>4</sup>. На поиски «общих законов» как основную особенность исследований Гизо указывает и «Телескоп». Но уже в это время в России, как и в Европе, отношение к Гизо при всем огромном влия-

<sup>2</sup> См., например: Белинский В. Г. «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. II. С. 253—346.

<sup>3</sup> Московский телеграф. 1829. Т. 27. С. 478.

<sup>4</sup> Московский наблюдатель. 1835. Кн. 2. С. 695.

нии его взглядов далеко не однозначно. Так, например, Н. Надеждин считал, что «новейшая историческая школа во Франции, начавшаяся триумvirатством Кузена, Гизо и Вильмена, имела неблагоприятное влияние на нашу историческую литературу», так как у нас слишком преждевременно, «не разобрав и не объяснив источники событий, начали отыскивать общие законы»<sup>5</sup>. Поэтому Н. Надеждин не видит возможности давать какую-либо серьезную оценку не только попыткам Н. Полевого в «Истории русского народа» применить идеи Гизо к объяснению истории России, но и анализировать сами эти идеи. В то же время Пушкин, вчитавшись в «Историю русского народа», испытал потребность определить свое отношение именно к историческим взглядам Гизо. Известны его глубокие замечания по этому поводу.

Критические высказывания Шатобриана об идеях новой исторической школы Франции «Московский телеграф» представил как свидетельство безнадежной отсталости автора<sup>6</sup>. С другой стороны, претензии Шатобриана и других европейских критиков к школе Гизо находили своих сторонников и в России. Суть общих упреков к Гизо можно свести к протесту против того, что Шатобриан называл стремлением «заменить историю лиц историей рода», «совершенно уничтожить лица и дать им только значение цифр, находящихся в совокупности»<sup>7</sup>. Причину этого стремления Т. Грановский позднее объяснил «смутно понятной философской мыслью о господствующей в ходе исторических событий необходимости или законности», которая приняла у историков Реставрации «характер фатализма»<sup>8</sup>. Подобная крайность имела следствием то, что с человека «снималась нравственная ответственность за его поступки», а сам он обращался в «слепое, почти бессознательное орудие роковых предопределений»<sup>9</sup>. Гизо, а особенно его союзники, Кузен, Минье, Тьер, давали повод для такого восприятия их взглядов. Тем не менее как упреки противников Гизо, так и «энтузиазм», например, «молодого неофита», Н. Полевого, являлись несколько односторонним освоением сложной системы исторических взглядов Гизо. Гизо далек от мысли лишать человека свободы и возможно-

---

<sup>5</sup> Телескоп. 1834. № 11. С. 140.

<sup>6</sup> Московский телеграф. 1831. Ч. 4. № 17. С. 7; № 19. С. 309.

<sup>7</sup> Московский телеграф. 1831. Ч. 4. № 18. С. 153.

<sup>8</sup> Грановский Т. Н. Сочинения. Т. 1. М., 1856. С. 23.

<sup>9</sup> Там же.

сти выбора, не снимает с него и нравственной ответственности за ход истории. Нравственная проблематика — один из главных и определяющих элементов исторических воззрений Гизо. Этого очень долгое время не замечали ни восторженные почитатели Гизо, ни его критики.

Напротив, мимо этой важной стороны взглядов Гизо не могло пройти поколение 50-х годов. Революционные демократы, отметив значение морального фактора в историческом объяснении Гизо и во многом испытывая влияние Гизо в процессе формирования собственных взглядов на судьбу человеческого фактора в истории прогресса, по-своему подходили к поднятым Гизо нравственным проблемам. Особенность их позиции была обусловлена прежде всего обстоятельствами общественной борьбы России конца 50-х — начала 60-х годов и являлась ответом на юридические, социально-политические и философские теории русских либералов.

Каждое новое возвращение к философии истории Гизо в России, как и любое обращение к прошлому, свидетельствовало о непреходящем стремлении найти ответы, способные объяснить бесконечно меняющиеся явления современности. Пристальное, заинтересованное внимание в России к выводам западноевропейской исторической мысли было связано с решавшимся на протяжении десятилетий вопросом о том, «чем отличается российская история от прочих европейских и азиатских историй»<sup>10</sup>, «как история России примыкается к истории человечества»<sup>11</sup>. В конечном итоге, «что мы такое и что нас такими сделало»<sup>12</sup>. Каждый новый поворот в развитии русского общества, выявляя новые грани в этом вопросе, требовал корректировки прежде найденных решений.

Всего за несколько лет до статьи Чернышевского об «Истории цивилизации в Европе» Т. Грановский, заключив, что исторические воззрения французских историков могут свидетельствовать только о том, что общество, в котором они возникли, утратило «веру в достоинство человеческой природы», выражает затем характерную надежду, что именно русский человек, не испытавший «борьбы враждебных общественных стихий», свободный «от всяких предубеждений в воззрении

---

<sup>10</sup> Московский вестник. 1828. Ч. 12. С. 189.

<sup>11</sup> Московский телеграф. 1829. Ч. 27. С. 486.

<sup>12</sup> Кавелин К. Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К. Д. Собрание сочинений. Т. 1. СПб, б/г. С. 586.

на спорные исторические вопросы», сможет прочесть в «очах столетий» не то, «что прочли в них воины французской республики»<sup>13</sup>. Подобная надежда ярко обозначает ту точку отсчета, с которой передовая русская мысль после поражения революции 1848 года и возникавшего разочарования в прогрессивности европейского пути исторического развития подходила к освоению результатов европейской науки. Позднее положение изменилось.

Конец 50-х годов оценивался новым поколением русской общественной мысли как такой этап в изучении Запада, когда «прошло для нас время бестолкового, слепого подражания всему иностранному, прошло и время бесполезного, надутого хвастовства своими, будто бы исключительными национальными достоинствами», когда мы наконец «решились признать-ся в превосходстве» европейской цивилизации, «в том, что нам нужно многому еще учиться у них»<sup>14</sup>.

Это время ознаменовано выходом в свет первых русских переводов замечательных трудов европейской историографии. Впервые на русском языке издаются «История английской революции» (1859), «История цивилизации в Европе» (1860), «История цивилизации во Франции» (1861) Гизо, «История XVIII столетия и XIX до падения французской империи» Шлоссера (1858—1872), сочинения Маколя (1860), чуть позже — «История французской революции» Минье (1866).

Без сомнения, Гизо в этом ряду знаменитых историков занимал первое место по степени популярности и интереса к его творчеству в России.

В 50—60-е годы этот интерес был обращен преимущественно к мысли Гизо о процессуальном характере истории. Историки этих лет прекрасно сознавали свое отличие от поколения 30-х годов в восприятии мысли Гизо о «разумном ходе истории». Если для Н. Полевого, отмечает К. Бестужев-Рюмин, важна была «конечная цель события, для историка нашего времени, наоборот, его исходная точка, ибо разумность общего хода истории для него заключается не в стремлении к ее заранее предназначенным целям, а в самом развитии, в том, что известные обстоятельства ведут неизбежно к известным результатам»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Грановский Т. Н. Сочинения. Т. 1. С. 31.

<sup>14</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. III. С. 256.

<sup>15</sup> Московское обозрение, 1859. Ч. 1. С. 38.

Общественные условия России конца 50-х — начала 60-х годов еще в большей степени, чем эпоха 30-х годов, обусловили возможность различного прочтения философии истории Гизо, прежде всего идеи прогрессивного саморазвития истории. Различное понимание этой идеи приводило в конечном счете к разным решениям вопроса о человеческом факторе истории и связанных с ним нравственных проблем. Мимо решения этих вопросов не могли пройти и представители самого передового направления русской общественной мысли этого времени — революционные демократы.

Книги Гизо становятся предметом восхищения Чернышевского еще в студенческие годы<sup>16</sup>. В дальнейшем отношение к Гизо корректировалось не только фактами его биографии, но и политическими и научными метаморфозами его учеников, русских либералов. Имя Гизо встречается очень часто в многочисленных литературно-критических и публицистических статьях Чернышевского. Оценку его научной деятельности Чернышевский дает в разборах исторических сочинений Т. Грановского, С. Соловьева, Б. Чичерина. Но к более или менее подробной характеристике исторических трудов Гизо до 1860 года он не обращается. В 1860 году в связи с появлением русского издания «Истории цивилизации в Европе» Чернышевский пишет уже специальную статью, намереваясь анализировать «общий принцип» воззрений Гизо. В следующем году по поводу выхода в свет русского перевода «Истории цивилизации во Франции» Чернышевский публикует статью «О причинах падения древнего Рима». В ней, разбирая «предмет, о котором трактует книга» Гизо, Чернышевский касается его идей в их отечественном, российском варианте, выявляя точки соприкосновения с ними в славянофильских и западнических теориях о будущих путях развития России. Как в первой, так и во второй статье, Чернышевский при анализе идей Гизо постоянно имеет в виду содержащиеся в них возможности исторического объяснения прежде всего судьбы русской нации.

Необходимо учитывать, что в оценке прошлого русского народа Чернышевский исходит из исторических результатов и запросов современной ему эпохи. Такой подход к оценке русской истории имел свою давнюю традицию, которая имеет свое объяснение. Отдаленные исторические результаты прошлого, оцениваемые последующими поколениями отрица-

---

<sup>16</sup> См. об этом: Д а л и н В. М. Люди и идеи. М., 1970.



тельно, для них не просто теоретически осознаваемые последствия давних событий, а больно бьющая реальность, «среда их обитания». Не удивительно, что современникам довольно трудно подходить к этой реальности не как к конечному результату того или иного явления прошлого, а как к определенному незавершенному и незавершаемому этапу исторического развития. Еще в начале 30-х годов неудовлетворенность П. Чаадаева общественным состоянием России этого времени привела его к известному выводу о том, что русский народ не имеет истории. Позднее у славянофилов критическая оценка николаевской эпохи явилась причиной переоценки ценностей петровских реформ и всего петровского периода в судьбах русского народа. Были у такого подхода и свои оппоненты. Историческая наука 50-х годов в лице виднейших ее представителей С. Соловьева, Б. Чичерина, К. Кавелина, подошла к объяснению истории России с иных позиций. К. Кавелин писал: «Сколько же столетий нужно нам прожить еще, чтоб стать тем, чем была Европа в XVIII веке?.. Рассуждая так, мы сравниваем свое настоящее не с своим же прошлым, а с посторонним образцом, который у нас перед глазами. Вот наша общая... ошибка зрения». «Вникая глубже в дело, нельзя не изумляться, сколько мы успели переделать в такое сравнительно короткое время»<sup>17</sup>. Чернышевский в подобном подходе увидел не только констатацию в русской истории развития, движения вперед, с чем он был безусловно согласен, но и вывод об исторической подготовленности и необходимости возникновения русского самодержавия и его сегодняшнего положения; вывод в духе историков Реставрации о том, что русская история шла именно по тому пути, по которому только и могла идти. Неудивительно поэтому, что в статье Чернышевского об «Истории цивилизации в Европе» за анализом исторических взглядов Гизо скрывалась острая полемика, которую вел «Современник» в это время с так называемой государственной школой Б. Чичерина по вопросу о результатах русской истории и возможности исторических параллелей ее с некоторыми западноевропейскими странами. С этой полемикой, как и со всей системой рассуждений Чернышевского о Гизо, были теснейшим образом связаны и важнейшие литературно-критические декларации «Современника».

---

<sup>17</sup> Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 1. С. 596, 597.

Мысль Гизо о саморазвитии, процессуальности истории, сама идея исторической необходимости в чичеринском применении ее к объяснению русской истории если и не ставилась революционными демократами под сомнение, то вызывала определенные уточнения этих идей Гизо. Возражая некоторым критикам А. Островского, Н. Добролюбов писал: «Точно так же мы оправдываем Островского в случайности и видимой неразумности развязок в его комедиях. Где же взять разумности, когда ее нет в самой жизни, изображаемой автором?» «По схоластическим требованиям, — продолжает Добролюбов, — произведение искусства не должно допускать случайности: в нем все должно... развиваться последовательно... с логической необходимостью и в то же время естественностью! Но если естественность требует отсутствия логической последовательности?»<sup>18</sup>. И Чернышевский, обращаясь к анализу взглядов Гизо, основное внимание сосредоточивает на проблеме исторического прогресса, который у Гизо выступает главным выражением и свидетельством саморазвития истории, результатом исторической необходимости.

Еще в 40-х годах Т. Грановский писал, что «прогрессивное движение человечества перестало быть вопросом для большинства мыслящих людей..., но излучистый ход этого движения, его внешняя неправильность вызывает со стороны его упрямых отрицателей некоторые возражения»<sup>19</sup>. Действительно, прогрессивность человеческого развития и в конце 50-х годов не вызывает сомнения — важно было всмотреться в сущность «излучистости» этого развития. Поэтому проблема прогресса и в это время остается одной из важнейших.

Мысль Гизо об органическом характере истории, о ее неотъемлемом свойстве развиваться на основе собственных данных, о невозможности исторического движения под действием каких-либо механических привнесений или произвольного волевого усилия отдельной личности была для своего времени историческим открытием. В общем виде она всегда будет верной. И вся острота вопроса состоит в том, как понимать эту ограниченность в конкретно-исторических оценках практики человеческого развития. Имея своим источником гегелевское упование на абсолютный разум, идея Гизо

<sup>18</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 5. С. 27, 28.

<sup>19</sup> Грановский Т. Н. Сочинения. Т. 2. С. 293.

в последующем своем существовании оказывается пригодным основанием для идей конформизма и официозного оптимизма. И роль русских революционных демократов, в частности, Чернышевского и Добролюбова, в разоблачении такой возможности и в решении связанных с нею вопросов, не должна игнорироваться.

Чернышевский находит и у самого Гизо подобный «излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях» и объясняет его именно прямолинейным пониманием прогресса. Идея прогресса, как известно, источник всей системы исторических взглядов Гизо. Она, по его словам, «является основной идеею цивилизации»<sup>20</sup>. Прямолинейность французского историка и его русских учеников Чернышевский видит в трактовке значения централизации в истории народов, в трактовке истории государственного оформления наций.

Чичеринская интерпретация выводов Гизо вызывает замечание Чернышевского, что «если историческое движение целого человеческого рода всегда идет путем прогресса, то отдельные народы подвергаются часто влиянию неблагоприятных обстоятельств». И «понятие о прогрессе имеет свои ограничения в жизни народов. Еще чаще такие несоответствующие прогрессу явления замечаются, когда мы берем исключительно одну сторону народной жизни. Поэтому едва ли может соответствовать истине такое построение истории отдельной нации, в котором решительно каждое важное явление в каждой отрасли народной жизни представляется возникающим и упадающим сообразно правилу прогрессивного развития» (III, 571—572). С одной стороны, факты политической биографии Гизо, а с другой — глубоко практические возможности применения выводов Б. Чичерина и его сторонников о результатах развития русской нации, позволяют Чернышевскому критически отметить еще один аспект идеи прогрессивного саморазвития истории. «Чичерин не против развития, — пишет Чернышевский, — он только хочет, чтобы развитие совершалось бесстрастным образом, по рецепту спокойствия и всесторонности», ибо для Токвиля, Леона Фоссе, Гизо, Маколяя, чьи теории «служат ему главным резервуаром мысли», «застой гораздо милее всякого смелого исторического движения» (V, 650, 668). Действительно, Гизо давал повод и для такого понимания причин исторического

---

<sup>20</sup> Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб. 1860. С. 13.

прогресса, которое отвергало бы возможность революционно-го перерыва в постепенности исторического саморазвития. Поэтому вопрос прогрессивности на определенных этапах исторических явлений варварства и феодализма, которые рассматривал Гизо, приобретал для Чернышевского значение чрезвычайности. В анализе этих этапов человеческого развития отразились такие взгляды Гизо на пути прогресса, его причин, с которыми Чернышевский никак не мог согласиться.

За постепенной сменой этих, говоря словами Чернышевского, внешних форм существования общества, у Гизо в качестве одного из элементов прогресса, зародившегося внутри этих форм, следовало правление Людовика XI. Именно с Людовика XI начинается, по мнению Гизо, эпоха «централизации» у европейских народов. И если для Гизо залог прогресса, как и причина его медленности, заключается в борьбе различных элементов общества именно за установление тех или иных форм централизации, то Чернышевскому принципиально важно сказать, что прогресс совершается «наперекор этим формам», в чем состоит и причина его медленности (VII, 477).

Для Гизо централизация — один из источников развития европейских народов по пути просвещения и порядка. Для Чернышевского централизация — это источник жалкого состояния русского народа в самодержавной России и один из пунктов расхождения с либералами. Именно в оценке этого факта в судьбе русского народа видит Чернышевский абсолютизацию прогресса у русских историков.

Революционные демократы не поддерживают убеждения Гизо и его русских учеников в том, что требования исторической необходимости в реальной истории всегда автоматически отвечали и требованиям прогресса, если его критерием последовательно считать духовное и материальное совершенствование, улучшение быта народных масс. С горькой иронией Чернышевский разъясняет, что означает так называемое научное беспристрастие Б. Чичерина в его выводах о благотворной роли централизации в условиях современного состояния самодержавной России. «Человека душил разбойник, — говорит Чернышевский, — а по рецепту г. Чичерина, этот человек в то самое время, когда старается отбиться от разбойника, должен спокойно рассуждать о том, что разбойник возникает из исторической необходимости, имеет историческое право существования» (V, 650). Отстаивание Б. Чичериным исторической пользы централизации означало для Чернышевского

оправдание мысли о том, что дело просвещения в России всегда было делом правительства. «Сделать нас европейцами никто не хотел», — доказывает позднее в статье о чаадаевской «Апологии сумасшедшего» Чернышевский. И даже Петр I вовсе не имел своей целью превращение России в цивилизованную страну. И немногие цивилизованные люди в России сделались таковыми по случайным обстоятельствам, а вовсе не благодаря действиям централизованной власти (VII, 611, 614, 615).

Добролюбов, иронически излагая теории идеальной организации общества на основе централизованной власти и строгого, иерархического подчинения ей, писал, что эта теория обезличивает человека и «противна естественным требованиям человеческой природы, и потому должна быть отвергнута как негодная, и уступить место другой, признающей все права личности и принцип... прогресса»<sup>21</sup>. «Ни одного человека нет, кто бы... возлюбил идеальную организацию», — говорит Добролюбов, и именно это недовольство ею «губит общую тишину и спокойствие», сопротивление ей движет общество вперед. Это движение происходит за счет того, что в человеке всегда живо «ничем не заглушаемое чувство справедливости» и что «терпению всегда есть предел»<sup>22</sup>. Благотворное устройство человеческой природы противопоставил и Чернышевский централизации Гизо в качестве причины прогресса. Благодаря врожденному «стремлению к просвещению, к правде и ко всему хорошему», благодаря «врожденной способности и охоте трудиться» происходит улучшение «общественного порядка и благосостояния», развитие просвещения (VII, 477). Для Гизо так же было характерно прославление благотворной для прогресса человеческой природы. Но тем не менее сходство позиций здесь лишь чисто внешнее. Как сказано выше, человеческие проблемы истории, нравственная проблематика в системе воззрений Гизо воспринимались и оценивались революционными демократами под особым углом зрения.

Избирательность Чернышевского сказалась прежде всего в отрицании исторической значимости некоторых нравственных проблем, поднимаемых Гизо, в первую очередь, проблемы исторического выбора и свободы. Суждения Гизо о том, что «человек носит в самом себе некоторые идеи порядка,

<sup>21</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 7. С. 253.

<sup>22</sup> Там же. С. 266.

справедливости, разумности», что «в нем есть голос, инстинкт, говорящий ему, что он создан для иной жизни», «что среди беспорядка его преследует и мучит влечение к порядку и прогрессу» и «под игом самого слепого эгоизма его волнует потребность правосудия, мудрости, прогресса, развития»<sup>23</sup> — эти суждения Гизо были Чернышевскому и Добролюбову очень близки. Но утверждение, что «мир создается преимущественно самим человеком» и «от его внутреннего состояния зависит видимое состояние общества»<sup>24</sup>, что «общество... бывает всегда таким, каким его делают люди»<sup>25</sup> — это утверждение Гизо не было принято революционными демократами. Для Чернышевского и Добролюбова оно содержало в себе намерение примирить отдельного человека с тем, к чему приводят историю все люди. Стремление Гизо возложить на человека определенную ему историей долю ответственности не отвечало господствующей тенденции революционно-демократической литературной критики, состоящей в обвинении среды и оправдании человека. Мир мог бы создаваться человеком, считали Чернышевский и Добролюбов, но «неблагоприятные формы» препятствуют этому, мешают тому, чтобы благородные инстинкты человеческой природы достигли уровня сознательного стремления к просвещению, прогрессу, цивилизации. И требованию времени в гораздо большей степени отвечало бы решение вопроса о том, отчего вспышки «божьей искры» человеческой природы «так слабы, так бедны результатами, отчего пробужденное на миг сознание засыпает снова так скоро», какие общие условия развивают в человеческом обществе «инерцию в ущерб деятельности и подвижности сил»<sup>26</sup>. «Все зависит, — считает Чернышевский, — от общественных привычек и обстоятельств». Это является причиной тому, что «вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда» (V, 165, 166).

Можно предположить в этом утверждении Чернышевского намеренный полемический перехлест. Ведь он не раз подчеркивал, что когда голос противника возвышается до крика, «то, возражая ему, надобно так же громко крикнуть нет; если произнести это слово спокойным, тихим голосом, оно не

---

<sup>23</sup> Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб, 1860. С. 66, 76.

<sup>24</sup> Там же. С. 75.

<sup>25</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции. СПб, 1861. Т. 1.

С. 29.

<sup>26</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 7. С. 267.

будет услышано» (VII, 612—613). Как известно, «нет» Чернышевского попыткам возложить ответственность на человека было услышано. Прежде всего, конечно, Достоевским. Но это «нет» было не только следствием полемической крайности.

Признавая в споре с П. Чаадаевым развитие, движение вперед в русской истории, Чернышевский в то же время уверяет, что развитие русского народа еще не имело общеевропейского значения. А ведь «истинный ученый ищет знания истины, а истина нечто общечеловеческое» (II, 372). Будучи далека от просвещения и европейской цивилизации, не внося в нее до сих пор заметного вклада, Россия остается чуждою и тех проблем, которые занимают европейскую мысль.

Поэтому некоторые вопросы, актуальные для Европы, не имеют смысла быть поднятыми в современной России. «Наши нужды настоятельнее, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа в Англии, свобода прессы во Франции, требуемая каким-нибудь Фавром или Оливье, без сомнения, вещи нужные, со временем они будут достигнуты; но для них еще время терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола. Для этих миллионов дело идет не о какой-нибудь прибавке к правам, которые они уже приобрели прежде, а чисто-начисто о создании хоть каких-нибудь прав»<sup>27</sup>. Здесь одна из причин разногласий и в отношении к нравственным проблемам истории, и в решении проблемы личности у революционных демократов и у Гизо.

Одним из главных аспектов проблемы личности в исторической концепции Гизо, как известно, является проблема нравственного выбора. В основе возможности такого выбора для человека лежит его относительная свобода, которая предполагается, по Гизо, самим ходом вещей. Человек «в борьбе с происшествиями не делается их рабом; он бессилен, зато свободен»<sup>28</sup>. Результат же выбора зависит от степени нравственности человека. И потому, «если справедливо сказать, что правительства образуют народы, то не менее верно и то, что народы образуют правительства»<sup>29</sup>. Это убеждение Гизо

<sup>27</sup> Там же. Т. 6. С. 242. См. также: Чернышевский Н. Г. Т. 5. С. 648.

<sup>28</sup> Атений. 1828. № 4. С. 14.

<sup>29</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции. Т. 1. С. 95.

вызвало замечание Н. Добролюбова о том, что «он слишком резко отделяет моральную силу от материальной, как будто эта сила находится где-то отдельно от материи, а не в ней самой»<sup>30</sup>. На самом деле материальный быт современной России, считают революционные демократы, как когда-то и нецивилизованной еще Европы, препятствует возможности нравственного выбора и какой-либо душевной борьбы в человеке. «Где следы той душевной борьбы, которая очистила бы и просветила заросшую тиной самодурства натуру Большова?» — задает риторический вопрос Н. Добролюбов по поводу попыток возвысить героя А. Островского до степени шекспировского Лира<sup>31</sup>.

В том-то и беда, что русский человек не выбирает ни в злом, ни в добром своем поступке. «Как у нас невольно и без нашего сознания появляются слезы от дыма, от умиления и хрена, как глаза наши невольно щурятся при внезапном и слишком обильном свете, как тело наше невольно сжимается от холода», — так точно люди темного царства «невольно и бессознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо эгостическую деятельность, при невозможности дела открытого, правдивого и радушного»<sup>32</sup>. Так называемый нравственный выбор в неблагоприятных, нецивилизованных обстоятельствах оказывается простым физиологическим актом. И преступник преступления свои совершает «без тяжкой и продолжительной борьбы с самим собою, а просто так, случайно, сам хорошенько не сознавая, что он делал»<sup>33</sup>. С мнением Гизо об ответственности народов за состояние «общественного быта» революционные демократы очень долго не могли согласиться. Но уже в статье «Луч света в темном царстве» Н. Добролюбов пишет: «Посторонние, недейтельные участники жизненной драмы, по-видимому, занятые только своим делом каждый, — имеют часто одним своим существованием такое влияние на ход дела, что его ничем и отразить нельзя. Сколько горячих дней, сколько обширных планов, сколько восторженных порывов рушится при одном взгляде на равнодушную, прозаическую толпу, с презрительным индифферентизмом проходящую мимо нас!.. А с другой

---

<sup>30</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 3. С. 270.

<sup>31</sup> Там же. Т. 5. С. 53.

<sup>32</sup> Там же. С. 32.

<sup>33</sup> Там же. С. 46—47.



стороны, и сколько преступлений, сколько порывов произвола и насилий останавливается пред решением этой толпы, всегда как будто равнодушной и податливой, но в сущности весьма неуступчивой в том, что раз ею признано. Поэтому чрезвычайно для нас важно знать, каковы понятия этой толпы о добре и зле, что у ней считается за истину и что за ложь»<sup>34</sup>.

Мысль о человеческой натуре как причине прогресса вступала в противоречие с убеждением в том, что человек, являясь порождением обстоятельств, не выбирает между добром и злом, поступает по обстоятельствам и, казалось бы, не может воздействовать на происходящее в мире. Это противоречие нашло свое отражение в холодном, близком к отчаянию замечании Чернышевского о том, что «рассудок чуть ли не совершенно бессилён в истории» и что «на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные» (V, 276, 221). Но революционные перемены в жизни народа могли произойти только в опоре на лучшее, здоровое в человеке. Новые факты жизни предреформенной России, новые явления, нашедшие выражение в художественной литературе, на которые указывал Добролюбов в статье о «Грозе» А. Островского, снимали возникшее противоречие. Обстоятельства «нецивилизованного» общества являлись причиной того, что до сих пор натура человека была скована, ее благородные инстинкты пребывали в сонном состоянии.

В начале 60-х годов Чернышевский видит возможность заметить, что и в сонном человеке «происходят все те явления, как и в бодрствующем, только они несколько медленнее и слабее», изначально добрые качества человеческой природы «срабатывают», так или иначе проявляют себя, «бессознательность и молчаливость» человеческой природы «не мешает совершиться факту» (VII, 885).

Поэтому для Чернышевского и Добролюбова особо важно отметить мыслителей, которые вскрывают в истории и обыденной жизни свидетельства такого «свершившегося факта», показывают неистребимость человеческой способности заявлять миру о своих понятиях о добре и зле, о том, что почитается «за истину и что за ложь». Эти мыслители тем более дороги революционным демократам, что сохраняют при этом

---

<sup>34</sup> Там же. Т. 6. С. 321—322.

трезвость взгляда и умудренность жизненного опыта. Так, например, Добролюбов находит источник художественной правды комедий А. Островского в умении автора «отличить натуру от всех извне принятых уродств и наростов»<sup>35</sup>. И Чернышевский, указывая на подобную же правду мысли у Шлоссера, отмечает в нем знание людей, «как их знали Монтень и Макиавелли» (V, 176), которые отнюдь не были склонны к каким-либо обольщениям относительно человека и в то же время исходили из веры в то, что Добролюбов называет натурой. При этом авторитет исторического взгляда Шлоссера, по мнению Чернышевского, давно должен поколебать различные «либеральные и прогрессивные истории». Проницательность и беспощадность оценок «злобного старика Шлоссера», как охарактеризовал его «Русский вестник», противопоставлены Чернышевским «излишнему оптимизму» русских либералов<sup>36</sup>.

Анализируя взгляды Гизо, Чернышевский имел в виду воззрения русских историков, публицистов, литературных критиков, испытавших влияние Гизо, не только в качестве объекта критики. Чернышевский не мог не учитывать опыта прочтения Гизо ближайшими своими современниками.

Отношение Чернышевского к русской исторической науке своего времени не ограничивалось лишь принципиальным идейным неприятием некоторых ее выводов. Он признавал и определенные достижения современной ему отечественной историографии. Указав в 1856 году на «добросовестность и верность взгляда» Б. Чичерина в исследовании конкретных фактов русской истории (III, 568, 569, 572, 644), Чернышевский впоследствии не отказывается от убеждения в научной честности историка и постоянно отделяет эту положительную сторону трудов Б. Чичерина от «заимствованных» выводов в духе идей Гизо (V, 668). Заслугой К. Кавелина и С. Соловьева признает Чернышевский «строгое ученый взгляд новой исторической школы», объяснение «смысла событий и развития нашей государственной жизни» (III, 181).

---

<sup>35</sup> Там же. Т. 5. С. 27, 29.

<sup>36</sup> О значении Шлоссера в творчестве Чернышевского см.: Козлова М. Е., Плимак Е. Г. «Явление чрезвычайно важное и любопытное» (об «Исторической библиотеке» Чернышевского)//История СССР. 1978. № 5. С. 72—89.

Этот опыт прочтения Гизо у Т. Грановского, С. Соловьева, Б. Чичерина, К. Кавелина, как и у самого Чернышевского, включал в себя не только восхищение и безоговорочное усвоение идей Гизо и его методов исторического анализа. Труды Гизо в России второй половины девятнадцатого столетия подвергались избирательному и критическому восприятию. Многие замеченные и не принятые Чернышевским недостатки исторической системы Гизо (такие, как апологетизация успеха, абсолютизация значения исторической необходимости в судьбах человечества, связанная с нею формула исторического объяснения по типу «иначе не могло быть») признавались не только Чернышевским. Как не было характерным только для революционных демократов и признание в русской истории эпох господства случая, творящего произвол, или же признание исторической обусловленности таких пороков русского общества, как взяточничество и казнокрадство. На те же факты русской истории и на те же особенности исторической системы Гизо указывали К. Бестужев-Рюмин, Б. Чичерин, К. Кавелин, а еще ранее — Т. Грановский. Подробное исследование проблемы таких совпадений в суждениях Чернышевского и некоторых адресатов его критики составляет предмет отдельного разговора. Здесь отметим только, что сходство это лишь яснее оттеняет противоположность идейных и методологических позиций революционных демократов и их противников из лагеря либералов. Одинаковые по форме суждения у революционных демократов имеют или совершенно противоположное основание, или же ведут к совершенно иному заключению, нежели у их оппонентов. Если указанные выше факты русской истории являлись для Б. Чичерина только свидетельством ее национального или временного своеобразия, то для Чернышевского эти же факты служили тем камнем, от которого рассыпалось здание исторической системы Гизо.

Взыскательная современность, страстная публицистичность Чернышевского часто становились причиной намеренного выпрямления им логики рассуждений противника. Так, например, признание внутри варварского общества источников прогресса совсем не подразумевает у Гизо вывода о плодотворном значении для цивилизации варварства в целом. Чернышевский же, полемически заостряя выводы Гизо, смещал логическую зависимость в его рассуждениях. А положительное заключение Гизо о наличии цивилизации и прогресса даже в таком «препятствии на пути прогресса», как фео-

дализм<sup>37</sup>, принималась Чернышевским за оправдание системы феодального грабежа и за утверждение полезности его для человека.

Между тем та же публицистичность не мешала Чернышевскому в достижении новых истин, а помогала ему в определении того логического предела, за которым историческое объяснение Гизо уже требует уточнений.

Вскрывая социально-политический смысл различных решаемых Гизо философско-исторических проблем, Чернышевский постоянно отстаивает, с одной стороны, реалии современности, а с другой — призывает всегда учитывать судьбу человека в историческом процессе, ведет борьбу за гуманистический показатель истории. И поэтому идеологическая и практическая ценность поправок Чернышевского к теории прогресса Гизо неотменима, а на некоторых этапах общественного развития их содержание приобретает первоначальную злободневность. Публицистическая страстность Чернышевского в полемике об историческом прогрессе направлена против отождествления веры в прогресс с явлением фатального оптимизма, против превращения прогресса в конформизм. Уточнения Чернышевского (а также Добролюбова) по поводу органичности истории устремлены прежде всего против человеческой удовлетворенности и успокоенности, и также навсегда останутся вечным капиталом.

Не отменяя правоверности убеждения Гизо в том, что человек всегда будет ответственен за окружающий его мир, историческая публицистика Чернышевского и литературная критика Добролюбова постоянно напоминают нам также о том, что человек не действует в безвоздушном пространстве. Его деятельность и его потребности определяются и уровнем его нравственного развития и состоянием общества, в котором он живет. Не отменяя для нас мысли Гизо о прогрессивном саморазвитии истории, поправки Чернышевского уточняют, что каждый очередной исторический результат такого развития не способен отменить в качестве двигателя прогресса человеческую тревогу, того, что Добролюбов называл «ничем не заглушаемым чувством справедливости». Эта тревога обусловлена самой историей, самим содержанием исторического прогресса, который в своем осуществлении не только не отрицает противоречий, но предполагает их. Именно борьбою против игнорирования противоречий как неотъем-

---

<sup>37</sup> Гизо Ф. История цивилизации в Европе. С. 113.

лемого свойства прогрессивного саморазвития истории обращены к проблемам нашей эпохи исторические формулировки революционных демократов. С течением времени не потеряли научной и практической актуальности слова Чернышевского о том, что «путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами» и часто «грошовый результат достигается не иначе, как растратой миллионов» (V, 221). Готовность принять эту данность истории способствовала удивительной трезвости взгляда Чернышевского на собственную роль в общественном развитии России. В качестве одного из условий воздействия человека на ход истории этот принцип Чернышевского не потерял практической и методологической ценности и в наше время.

В. Ш. КРИВОНОС

### **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СПЕЦИФИКЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ**

Быстрое развитие русской прозы, формирование прозаических жанров, утверждение понятия о прозе как о высоком искусстве, обладающем собственными изобразительными возможностями, — все это важнейшие особенности литературного процесса в России второй трети XIX века. Направленность художественных исканий прозаиков этого периода в области повествовательных форм и способов повествования была глубоко осмыслена русской демократической критикой. Особое место принадлежит здесь Чернышевскому, который выступил не только как проницательный истолкователь современных ему прозаических произведений, но и как теоретик прозы.

Чернышевский, будучи современником Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Л. Толстого, свидетелем расцвета русской прозы и обретения ею художественной зрелости, выявил и проанализировал в своих статьях существенные свойства прозаического изображения действительности и человека. При этом Чернышевский оставался верным строго историческому взгляду на становление русской прозы, отметив, например, что до появления Гоголя «...проза в русской литературе занимала очень мало места, имела очень мало значения. Она стремилась существовать, но еще не существовала... Гоголь

был отцом русской прозы, и не только был отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзией, перевес, сохраняемый ею до сих пор» (III, 16).

Критик точно фиксирует особенности литературного развития в России в первой половине XIX в., указывая на совершившийся в 30-е годы переход от поэзии к прозе и на роль Гоголя как ведущего прозаика эпохи, сильнее всего повлиявшего на этот переход, ускорившего его и обеспечившего господство прозы и прозаических жанров в последующие десятилетия. Причем Гоголь, по Чернышевскому, принципиально расширил аудиторию русской прозы, по сути создал новую аудиторию, определив и новые условия взаимоотношений писателя-прозаика и его читателей: «Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга...» (III, 20).

То значение, которое приобретала проза в процессе развития русской литературы, побуждало Чернышевского искать историко-литературное и теоретическое объяснение специфических возможностей художественно-прозаической изобразительности. Правда, как замечает критик в «Очерках гоголевского периода русской литературы», «в общем теоретическом смысле, мы не думаем отдавать предпочтение прозаической форме над поэтической, или наоборот — у каждой из них есть свои несомненные преимущества...» (III, 17). Однако вслед за этим Чернышевский говорит о большей для русской литературы плодотворности именно прозаической формы, о ее соответствии насущным потребностям настоящего времени. Существенные преимущества прозы, обеспечивающие ей ведущую роль в литературном процессе, заключаются, по Чернышевскому, в ее познавательных и аналитических возможностях. Осваивая новые области действительности, проникая в глубины человеческой психологии, русская проза выполняет актуальную задачу объяснения действительности и человека, их верного понимания и исторически справедливой оценки. Соотносясь с положениями материалистической эстетики Чернышевского и уточняясь в конкретных разборах тех или иных произведений, теоретические суждения критика о сущности новой русской прозы неизменно отражали его озабоченность эстетической реабилитацией действительности<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> О смысле этой реабилитации в литературе о Чернышевском писалось неоднократно. См., например: Ск а т о в Н. Эстетика деяния (К характеристике эстетических воззрений Чернышевского)//Ск а т о в Н. Далекое и близкое. М., 1981. С. 118.

Приоритет требований действительности над капризами воображения осознавался Чернышевским в качестве необходимого условия выработки трезвого прозаического взгляда на вещи. В авторецензии на «Эстетические отношения искусства к действительности» критик как пример человека, «у которого очень развиты мнимые, фантастические стремления, на самом деле совершенно ему чуждые», указывает на лермонтовского Грушницкого: «Этот забавный Грушницкий из всех сил хлопочет, чтобы чувствовать то, чего вовсе не чувствует, достичь того, чего ему в сущности вовсе не нужно» (II, 96). По мнению Чернышевского, пример Грушницкого очень показателен для понимания того факта, что подобная неумеренная мечтательность может возникнуть только при неудовлетворении естественных потребностей человека. При этом критики имеют в виду (в соответствии с принципами антропологического материализма) некоего абстрактного человека, человека вообще, человека как родовое существо, но не как индивидуальность.

Отправляясь от возможных явлений жизни такого человека, от определенных жизненных ситуаций, в которых этот человек мог вести себя именно так, а не иначе, Чернышевский попытался объяснить специфику романтического мироотношения, предпочитающего воображение реальности, считающего мечту привлекательнее действительности. Романтическому взгляду Чернышевский противопоставляет иной, способный обнаружить и оценить по достоинству все богатство явлений действительной жизни, выразить такие потребности, «...удовлетворения которых действительно требуют ум и сердце человека...» (II, 97). Этот новый взгляд и есть (в контексте теоретических и историко-литературных суждений и наблюдений критика) подлинно прозаический взгляд на вещи, отражающий реалистическое миропонимание. Закономерно, что развитие теоретических представлений Чернышевского о прозе осуществляется наряду с разработкой им теории реализма<sup>2</sup>.

Концепция прозы, которая оформляется в критике Чернышевского, — это концепция реалистической прозы. Чернышевский строит эту концепцию, опираясь прежде всего на художественный опыт освоения действительности русской ре-

---

<sup>2</sup> Ср.: Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения. М., 1980. С. 226—232.

алистической прозой 40—50-х годов XIX века. Именно этот опыт, казавшийся Чернышевскому исключительно продуктивным для правдивого воспроизведения в литературе многообразных явлений действительности, позволил критику высказать и подкрепить анализом конкретных произведений концептуальное мнение о художественной сущности прозы, о специфике художественно-прозаической изобразительности. При этом Чернышевский ставит такие важные для понимания специфики прозы вопросы, как предмет изображения и повествования в прозе, принципы организации прозаического целого, способы выражения авторской оценки изображаемого, познавательная роль изображения действительности в прозе, эволюция авторского отношения к герою и исторически изменяющееся представление о гуманизации этого отношения, исторически мотивированное расширение изобразительных возможностей прозы, появление новых художественных средств и способов анализа внешней действительности и внутреннего мира человека.

Ставя эти вопросы, Чернышевский учитывает как художественные достижения новой русской прозы, так и характерные неудачи и просчеты современных ему беллетристов. В рецензии на роман Е. Тур «Три поры жизни» критик видит в художественной несостоятельности разбираемого произведения поучительный пример игнорирования специфических свойств художественного языка прозы, непонимание ее изобразительных возможностей: «Неужели глупые похождения бесхарактерного и слабого мальчика надобно описывать, как благородный пыл первой, чистой страсти? раскрашивать его восторги с сочувствием и увлечением? Кто пишет о них так, тот не имеет права браться за подобные сюжеты. Надобно стоять выше их, чтобы описания их были верны и поучительны. Иначе мы напишем нечто фальшивое и жалкое во всех отношениях, начиная с художественного» (II, 227).

Обнаружив несоответствие предмета повествования и авторского отношения к нему, отметив художественную неубедительность уподобления авторской точки зрения точке зрения героя, без каких-либо попыток подвергнуть позицию героя объективному художественному анализу и тем самым объяснить ее, произнести приговор над изображаемым, критик заключает, что в романе Е. Тур «...нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, натянутость и экзальтация, представляющая все в «каком-то фантастическом



сиянии» и как раз навыворот против того, что бывает на белом свете. Над всем этим владычествует неизмеримая пустота содержания» (II, 231).

Верность действительности — существенный для Чернышевского критерий анализа реалистической прозы. Соответствие этому критерию предполагает, что прозаик осуществляет в произведении познание и анализ действительности средствами художественно-прозаической изобразительности, что прозаик не конструирует предмет изображения по какому-то заданному образцу (следствием такого конструирования и является пустота содержания — ведь в произведении в этом случае отображается не реальность, а фикция авторского воображения), не подчиняет изображение своим произвольным требованиям и не подменяет художественное объяснение описательностью, обусловленной нормами поэтики дореалистической прозы.

Чернышевского тревожит, как свидетельствуют его замечания в статье «Об искренности в критике», что ориентация современной прозы на эти устаревшие нормы приводит, «как во времена Марлинского и Полевого», к созданию произведений, состоящих «из набора риторических фраз», и одновременно угрожает «вредно подействовать на вкус большинства публики, заставить большинство писателей опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь как существенных достоинствах литературного произведения» (II, 255). Между тем прозаик-реалист не может не считаться с объективной логикой самой действительности, следование которой как раз и должно привести к здоровому взгляду на жизнь, к пониманию подлинного смысла происходящего в этой жизни, к правдивому воспроизведению характеров и обстоятельств.

Поскольку изображение действительности в реалистической прозе основано на познании и анализе, то и к читателю (не только к автору) Чернышевский предъявляет новые требования, такие, как самостоятельность, способность без каких-либо авторских подсказок понять смысл прочитанного, уяснить авторскую идею, верно оценить авторское отношение к героям и т. д. Причем критик отчетливо сознает, что «...сущность беллетристической формы, чуждой силлогистического построения, чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем...» (IV, 264).

Читателю необходимо овладеть художественным языком реалистической прозы, понять соотношение в этой прозе характеров и обстоятельств, индивидуального и типического, самооценки героев и авторской оценки изображаемого, соответствие формы произведения его идее.

Авторское отношение к изображаемому выражается в реалистической прозе, по мнению Чернышевского, не в каких-либо отдельных суждениях, «...а смыслом целого произведения» (IV, 571). Так, в «Очерках из крестьянского быта» Писемского «...равнодушный тон докладчика вовсе не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, — напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правую докладчику» (IV, 571).

Чернышевский, анализируя современную прозу, вообще придает исключительно важное значение именно организации художественного целого; ход анализа и конкретные оценки определяются здесь общетеоретическими и эстетическими убеждениями критика. Отсюда особое внимание критика к художественному единству прозаического произведения, когда каждый его элемент соотносился бы со смыслом целого и был бы структурно необходим<sup>3</sup>.

С точки зрения художественного единства даже вопрос об объеме произведения из сугубо, казалось бы, технического превращается в глубоко содержательный. Ведь следствием растянутости оказываются «...бледность картин, вялость сцен, пустота и утомительность всего произведения» (II, 465). А сама эта растянутость — не что иное, как следствие бессодержательности, отсутствия объединяющей и органично скрепляющей все элементы целого художественной идеи. В сжатости произведения, все страницы которого «наполнены содержанием» (II, 466), видит Чернышевский принципиальное достоинство таких явлений русской литературы, как «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Капитанская дочка» и «Дубровский».

Вопрос о художественном единстве непосредственно связан в концепции Чернышевского с проблемой соответствия формы произведения его идее: «Как бы замысловата или красива ни была сама по себе известная подробность — сце-

---

<sup>3</sup> См.: Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения. С. 226.

на, характер, эпизод, — но если она не служит к полнейшему выражению основной идеи произведения, она вредит его художественности» (III, 663). Правда, Чернышевский — и это уже отмечалось в литературе о нем<sup>4</sup> — сводит иногда изображение к авторской тенденции и вообще склонен не различать авторскую идею и объективный смысл художественного целого<sup>5</sup>, что в той или иной степени объясняется недооценкой им обобщающей природы художественного образа. И все же в проведении главной своей мысли критик остается очень последовательным: соответствие формы идее обусловлено спецификой предмета изображения, логикой повествования, внутренними закономерностями развития характеров и обстоятельств. Так, в «Детстве» Л. Толстого и должно быть изображено «...именно детство, а не что-нибудь другое...», например, общественная жизнь, ведь «...не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение...» (III, 429). Достоинство Л. Толстого как прозаика Чернышевский как раз и видит в том, что «...никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения» (III, 431).

Только в том случае, когда в произведении достигнуто единство формы и идеи, художественное изображение может быть истинным; истинность идеи, воплощенной в каждом из элементов целого, обуславливает структурную необходимость и мотивированность используемых автором приемов и средств изображения. Своеобразие же тех или иных конкретных форм художественного анализа действительности зависит и от характера творческой индивидуальности, и от степени развитости художественного языка прозы. Например, специфика изображения и понимания человека и мира у Л. Толстого определяется такими свойствами его индивидуальности, как «знание человеческого сердца» и «чистота нравственного чувства» (III, 427). Однако не только эти свойства, но и вообще развитость в литературе ко времени появления Л. Толстого различных способов психологического анализа («... од-

---

<sup>4</sup> См.: Николаев П. А. Классик русской критики//Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 10.

<sup>5</sup> Ср.: Свительский В. А. Об изучении авторской оценки в произведениях реалистической прозы//Проблема автора в русской литературе XIX—XX вв. Ижевск, 1978. С. 8.

ного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей...) позволили создателю «Детства» и «Отрочества» самоопределиться как мастеру «диалектики души» (III, 422—423).

Выявляя историческую содержательность происходивших в новой русской прозе структурных изменений, обнаруживая историческую закономерность возникновения нового художественного понимания действительности и человека, Чернышевский отмечает и появление новых и существенно изменившихся форм авторской оценки изображаемого. Речь идет и о таком изображении обыкновенного человека, когда воспроизводится (как, например, в рассказах Л. Толстого) его «взгляд на вещи» (IV, 682), то есть когда автор смотрит на своего героя «изнутри», правдиво передает его понятия о жизни, его речь и т. д. Новая степень гуманизации авторского отношения к предмету повествования, растущее в литературе сознание ценности личности обыкновенного человека, эволюция изображения героя из народной среды, обусловленная исторически изменившейся мерой требовательности к поведению этого героя и к авторской оценке его мыслей и поступков — таковы существенные тенденции развития новой русской прозы, четко обозначившиеся в середине XIX века. «...Будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» (VII, 862), — так формулирует Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» принципиальный вывод, основанный на глубоком истолковании приобретенного русской прозой нового художественного опыта.

Осмывая эти тенденции и выдвигая в свою очередь перед русской прозой новые художественные задачи, Чернышевский постоянно соотносит эти задачи с гуманистическим содержанием переживаемого литературой этапа ее развития; ведь каждый из таких этапов, по мнению критика, обнаруживает существенно важные и исторически определяемые новые качества русского художественного гуманизма. В этом плане особое значение приобретает интерес Чернышевского — теоретика прозы и художника-прозаика к проблеме чужого сознания как предмета изображения, его попытки найти и описать новую романную структуру, где герою была бы предоставлена свобода самораскрытия «без завершающих автор-

ских оценок»<sup>6</sup>. Вообще необходимо отметить единство теоретических и художественных исканий Чернышевского, взаимодействие и взаимосвязь развивавшейся им концепции прозы и его собственных прозаических опытов.

Продолжая эту мысль, можно сказать, что Чернышевский-романист учитывал, вероятно, и свой собственный опыт критика и теоретика прозы. Во всяком случае, показателен тот факт, что проблемы теории прозы становятся предметом обсуждения и спора на страницах романа «Что делать?». Современный исследователь отмечает: «Вопрос о «художественности» романа, настойчиво обсуждаемый внутри его текста, является одним из важнейших художественных принципов, организующих роман как целое»<sup>7</sup>. Можно добавить, что, вводя в текст своего романа теоретические рассуждения о прозе, о принципах романной организации, о «художественности» и т. д., Чернышевский подключался к актуальной традиции повествования, оформившейся в новой русской прозе еще в 30—40-е годы<sup>8</sup> и существенно повлиявшей на художественную структуру таких ключевых для эпохи произведений, как, например, «Мертвые души» Гоголя. Теории прозы становилось тесно на страницах критических статей Чернышевского, она просилась на страницы романа, чтобы превратиться в важнейший элемент его образного содержания. Понять смысл и мотивированность такого «превращения» — актуальная научная проблема, решение которой помогло бы более полно и исторически конкретно осмыслить и представить взгляды Чернышевского на художественную сущность новой русской прозы.

---

<sup>6</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979. С. 79.

<sup>7</sup> Руденко Ю. К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л., 1979. С. 19.

<sup>8</sup> См.: Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 247.

И. Г. ЯМПОЛЬСКИЙ

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ВОСПРИЯТИЯ ТВОРЧЕСТВА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Полвека тому назад, в 1927 году, была напечатана статья Ю. М. Стеклова «Н. Г. Чернышевский в изображении наших беллетристов»<sup>1</sup>. В статье рассматриваются пять произведений: «Школа гостеприимства» Д. В. Григоровича, «Всякие» А. С. Суворина, «Болото» М. А. Воронова, «Николай Негорев» И. А. Кушчевского, «Профессор Ратмиров» Д. Л. Мордовцева. Ниже о них говорится менее подробно или вовсе коротко.

Несомненный интерес представляет не только более или менее развернутое изображение Чернышевского, но и самое появление его имени с соответствующей оценкой и характеристикой, его героев и произведений в прозе и драматургии шестидесятых годов и следующих десятилетий. Наряду с критической литературой о Чернышевском подобные факты рисуют восприятие его личности в сознании ряда поколений, острую борьбу противоположных мнений. При этом имеются в виду не просто отголоски идей Чернышевского, а конкретные указания и прямые упоминания. Иногда они даются от имени того или иного писателя, в других случаях вложены в уста его героев. Они выполняют разные функции, характеризуют этих героев, сюжетную ситуацию, исторический фон произведения и т. п.

Приведем некоторые факты. Но необходимы, конечно, дальнейшие поиски.

---

<sup>1</sup> Стеглов Ю. М. Еще о Н. Г. Чернышевском. М.; Л., 1930.

Д. В. Григорович. Школа гостеприимства (1855) <sup>2</sup>

Одним из героев этой юмористической повести является литератор Чернушкин, изображенный в весьма неприглядном виде. В карикатурной фигуре Чернушкина есть явные намеки на Чернышевского и грубые выпады против него. Кроме статьи Ю. М. Стеклова см. об этом: Чуковский К. Как это началось (Чуковский К. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934); Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Л., 1928. Кн. 1. С. 202—204.

М. А. Воронов. Мое детство (1861)

М. А. Воронов — ученик Н. Г. Чернышевского по Саратовской гимназии, в 1858—1860 годах его секретарь, один из близких ему людей. В автобиографической повести Воронова «Мое детство» (Время. 1861. № 7 и 9) новый учитель словесности, «только что окончивший курс в одном из столичных университетов ... человек, обладавший огромными специальными и энциклопедическими познаниями, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую арену для своей деятельности», — это, конечно, Чернышевский. Учитель пробыл в гимназии недолго, но привил ученикам охоту к чтению, гуманный образ мысли и вообще оставил по себе добрую и прочную память (1861. № 9. С. 71—73). В книге Воронова «Болото» (СПб, 1870) повести «Мое детство» и «Моя юность» (Время. 1862. № 7) объединены под названием «Детство и юность».

Л. Н. Толстой

Комедия Л. Н. Толстого «Зараженное семейство» написана в конце 1863 — начале 1864 года, скоро после появления «Что делать?» (впервые напечатана в 1928 году). Эта сатира на лженигилистов направлена вместе с тем и против романа Чернышевского. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что одним из первоначальных заглавий пьесы было «Новые люди», что прямо отсылает нас к подзаголовку «Что делать?» — «Из рассказов о новых людях». Но есть и другие факты, указывающие на ее полемическую направленность. Карикатурным персонажем «Зараженного семейства» приписаны слова и положения, заимствованные из «Что делать?»

---

<sup>2</sup> Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, указана дата первой публикации.

Так, в уста эмансипированной женщины Катерины Матвеевны вложено звучащее как цитата выражение «что делать?» («Научите меня, что делать?..») <sup>3</sup> Главный герой комедии Венеровский, по его словам, хочет «вырвать эту девушку, хорошую девушку, из одуряющих и безнравственных условий, в которых она жила» (С. 374), подобно тому, как это делает Лопухов по отношению к Вере Павловне. Обращение Венеровского к Любочке «миленькая» также восходит к роману — Вера Павловна постоянно называет Лопухова «миленький». Беседуя с Венеровским об «освобождении женщины из варварского рабства», Любочка говорит: «Да, отчего нельзя в другой раз замуж выйти? ... Ну, вдруг наскучит мне один муж, я разлюблю его совсем» (С. 391). Любочка упоминает мимоходом о «покупке швейной машины» (С. 391). В черновой редакции «Зараженного семейства», в связи с планами будущей семейной жизни, когда у каждого из супругов будет своя комната, возникает и «нейтральная комната, в которой мы будем сходитьсь» <sup>4</sup>. Да и язык «новых людей» из «Зараженного семейства» во многом пародирует язык передовой публицистики 1860-х годов, в частности язык Чернышевского <sup>5</sup>.

Через много лет, в 1900 году, Толстой написал драму «Живой труп» (впервые напечатана в 1911 году). В ней он использовал (отнюдь не в карикатурном плане) мотив, заимствованный из «Что делать?» — мотив фиктивного самоубийства Лопухова, чтобы не мешать счастью Веры Павловны и Кирсанова. В «Живом трупе» он относится к Феде Протасову, его жене Лизе и Каренину. Толстой прямо ссылается на роман Чернышевского. Вот соответствующее место из разговора цыганки Маши с Протасовым.

М а ш а (вырывает письмо). Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Ф е д я. Да, что меня не будет.

М а ш а. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Ф е д я. Читал. Кажется.

М а ш а. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

<sup>3</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1982. Т. 11. С. 405.

<sup>4</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 7. С. 321.

<sup>5</sup> О «Зараженном семействе» см.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. Л.; М., 1931. С. 213—222; Ломунов К. Драматургия Л. Н. Толстого. М., 1956. С. 87—109.



Федя. Нет.

Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Федя. Да как же?

Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой? Там переоденешься.

Федя. Да ведь это обман.

Маша. И прекрасно. Пошел купаться, платье оставил на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя. Ну, а потом?

Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу» (Т. 22. С. 311).

Так он и поступил, но результат оказался иным, чем в «Что делать?» — трагическим: за фиктивным самоубийством последовало подлинное.

### Ф. М. Достоевский

Достоевский вел полемику с социально-политическими и философскими идеями Чернышевского, с теорией «разумного эгоизма», с идеей «хрустального дворца» как символа будущего гармонического социального строя, с романом «Что делать?», с его героями и их поступками на страницах многих своих художественных произведений — в «Записках из подполья» (1964), «Крокодиле» (1865), «Преступлении и наказании» (1866), «Идиоте» (1868), «Бесах» (1871—1872). Большой частью имя Чернышевского не названо, но адресат этой полемики был ясен современникам. В исследованиях о Достоевском и примечаниях к академическому изданию его сочинений эти места соответствующим образом прокомментированы. Собственные возражения и язвительные замечания Достоевский обычно вкладывал в уста своих героев. Приведу несколько примеров.

Так, в «Идиоте» Лизавета Прокофьевна Епанчина говорит: «Тьфу! все навыворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет, вдруг среди улицы прыг на дрожки: «Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, прощайте!» Так это и хорошо так, по-вашему, поступать? Уважения достойно, естественно? Женский вопрос?»<sup>6</sup>. Ср. «Что делать?», гл. 2, раздел 20<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1973. Т. 8. С. 237.

<sup>7</sup> Чернышевский Н. Г. «Что делать?» («Литературные памятники»). Л., 1975. С. 101. Далее ссылка на это издание дается в тексте.

В «Преступлении и наказании» Лебезятников, разговаривая с Лужиным о «законном» и «гражданском браке» и о «рогах», заявляет: «Рога — это только естественное следствие всякого законного брака, так сказать, поправка его, протест... И если я когда-нибудь, — предположив нелепость, — буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене своей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я уважаю, потому что ты сумела протестовать!» ... Когда же рога ставятся открыто, как в гражданском браке, тогда уже их не существует, они немислимы и теряют даже название рогов. Напротив, жена ваша докажет вам только, как она же уважает вас, считая вас неспособным воспротивляться ее счастью и настолько развитым, чтобы не мстить ей за нового мужа» (Т. 6. С. 289—290). Это пародия на объяснение Лопухова с Верой Павловной, когда он узнал, что она полюбила Кирсанова: «Разве ты обманешь меня? разве ты перестанешь уважать меня? ... Не жалея меня: моя судьба несколько не будет жалка оттого, что ты не лишишься через меня счастья» (Гл. 3. Раздел 25. С. 196).

К той же ситуации романа Чернышевского Достоевский обратился и в «Бесах»: «Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал» (Гл. I. Раздел 8. Т. 10. С. 29).

Есть в «Бесах» эпизод, где содержится не скрытый намек на роман Чернышевского, а он прямо назван. Однажды, когда к старику Верховенскому пришел его сын, на столе лежала раскрытая книга. «Это был роман «Что делать?» — сообщает «хроникер», от имени которого ведется повествование. — Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга: мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, все более и более одерживала верх в его соблазнительном воображении. Я догадался, что он достал и изучает роман единственно с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с «визжавшими» знать заранее их приемы и аргументы по самому их «катехизису» и, таким образом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть в ее глазах. О, как мучила его эта книга! Он бросал ее иногда в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в иступлении». И дальше сле-

дуют слова Степана Трофимовича, его признание, что идея «Что делать?» восходит к его поколению, к «людям сороковых годов»: «Я согласен, что основная идея автора верна, — говорил он мне в лихорадке, — но ведь тем ужаснее! Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, вырастили, приготовили, — да и что бы они могли сказать сами нового, после нас! Но, боже мой, как все это выражено, искажено, исковеркано! — восклицал он, стуча пальцами по книге. — К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?» (Ч. 2. Гл. 4. Раздел 2. Т. 10. С. 238). Здесь заключена одна из существенных мыслей Достоевского — об ответственности «людей сороковых годов», либералов за «крайности» шестидесятников.

Наконец, в тех же «Бесах» есть выпад против «Эстетических отношений искусства к действительности». «Нынче никто, никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков, — с раздражением говорит Варвара Петровна об эстетических взглядах Степана Трофимовича. — ... Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды; этот карандаш полезен, потому что им можно все записать, а тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положить тут же рядом настоящее яблоко — которое вы возьмете? Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования» (Ч. 2. Гл. 5. Раздел 3. Т. 10. С. 264). Кстати сказать, тот же полемический аргумент (яблоко нарисованное и яблоко настоящее) фигурирует уже в 1864 г. в статье Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», направленной против «Современника».

## Н. С. Лесков

В романе «Обойденные» (1865) Н. С. Лесков подчеркивает, что его герои — «люди очень маленькие», что читатели не встретятся на его страницах «ни с героями русского прогресса, ни с свирепыми ретроgrадами». «В романе этом, — пишет он, — не будет ни уездных учителей, открывающих дешевые библиотеки для безграмотного народа, ни мужей, выдающих субсидии любовникам своих сбежавших жен, ни гвоздевка постелей, на которых как-то умеют спать образ-

цовые люди...»<sup>8</sup>. «Гвоздевые постели», это, конечно, намек на «Что делать?» и Рахметова<sup>9</sup>.

Литературным фоном швейной мастерской, организованной Анной Михайловной, также является роман Чернышевского. Лесков сочувственно относится к ней, но в ее изображении отсутствуют те социалистические мотивы, которыми окрашено предприятие Веры Павловны. Следует, впрочем, отметить, что, как и в других аналогичных случаях, тут возможно воздействие не непосредственно «Что делать?», а реальных фактов общественной жизни 1860-х годов, или контаминация того и другого.

В уста Измаила Термосесова из «Соборян» (1872), в прошлом «нигилиста», который «по какой-то студенческой истории в крепости сидел», Н. С. Лесков вложил пренебрежительные слова о Вере Павловне. Термосесов откровенно излагает свое *stredo* жене акцизного чиновника Бизюкиной и так поучает ее: «К службе его <сына> приспособляйте. Чтобы к литературе не приохочивался. Я вот и права не имею поступить на службу, но кое-как, хоть как-нибудь, бочком, ничком, а все-таки примкнул. Да-с; я ведь прежде тоже сам нигилист был <...> В России сила *на службе*, а не в мастерских — у Веры Павловны. Это баловство, а на службе я настоящему делу служу; и сортирую людей <...> Не наш ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мне за это плати»<sup>10</sup>.

Сюжетная ситуация рассказа (Паблин — Люба — Додя) сопоставляется с «Что делать?» (Лопухов — Вера Павловна — Кирсанов), и отчасти это место полемически направлено против романа Чернышевского. Правда, повествование ведется от имени некоего рассказчика.

«Знаете: когда читаешь в повести или романе какое-нибудь чрезвычайное событие, все невольно думаешь: «Эх, любезный автор, не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи гораздо мудренее всякого вымысла — и между тем такие странности часто остаются совсем незаме-

<sup>8</sup> Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: В 36 т. СПб., 1902. Т. 6. С. 133.

<sup>9</sup> О соответствии некоторых сюжетных мотивов «Обойденных» и «Что делать?» см.: Пульхритудова Е. М. Н. С. Лесков — литературный критик//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. № 2. С. 112—113.

<sup>10</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1957. Т. 4. С. 153.

ченными. Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?» Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и все конечно с еще большею пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнение не в том: удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном: возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если живешь между людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол? Первый мой Павлин совершил поистине нечто гораздо более замечательнее, тем паче, что этот Павлин был человек простой и любил свою жену понатуральнее, чем герой упомянутого мною столь известного в летописях литературы романа»<sup>11</sup>.

Сопоставление со статьей 1863 г. «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?», в которой, как известно, Лесков, по-своему истолковав роман, весьма положительно отнесся к нему, показывает, что в 1870-х годах уже явно не устраивало писателя или что он в 1863 году не считал уместным подчеркивать.

#### А. С. Суворин. Всякие (1865—1866)

Книга А. С. Суворина «Всякие. Очерки современной жизни» была напечатана в Петербурге под псевдонимом А. Бобровский в 1866 году. Первоначально большая ее часть появилась в «С.-Петербургских ведомостях» за 1865 год. В цензурный комитет книга поступила 4 апреля 1866 года, в день покушения Каракозова. На нее был наложен арест, а затем, после судебного разбирательства, «за резкое порицание существующего порядка вещей и сожаление о неуспешности попыток ввести новый порядок, задуманный лицами, образ мыслей и действий которых признан правительством вредным и которые подвергнуты законному преследованию», книга была уничтожена<sup>12</sup>.

Чернышевский выведен во «Всяких» под именем Самарского. Так, на с. 111—114 дана общая характеристика Самарского как человека обаятельного, честного, отзывчивого,

---

<sup>11</sup> Там же. Т. 5. С. 270—271. Рассказ впервые появился в сокращенном виде в 1874 г., процитированное место — в 1876 г.

<sup>12</sup> Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962. С. 54—55. См. также: Суворин А. С. Всякие, 2-е изд. СПб., 1909. приложение. Дальше ссылки на это издание даются в тексте.

«преданного тем убеждениям, которые он старался проводить в своей литературной деятельности и которых держался в жизни». Здесь же говорится о преподавательской деятельности Самарского — о том, как он, не придерживаясь установленной программы, читал своим ученикам Пушкина и Гоголя, сопровождая чтение своими объяснениями, вследствие чего принужден был вскоре покинуть это учебное заведение<sup>13</sup>.

Одна из героинь «Всяких» Людмила Ивановна также восторженно отзывается о том, что Самарский всегда и во всем верен своим убеждениям. «Если б я вздумала писать роман, — говорит она, — то взяла бы его героем <...> В романе, конечно, нужен негодяй: я списала бы негодяя с гнусной фигуры знакомого моего, Всеволода Дмитриевича Теломарова» (то есть В. Д. Костомарова). И дальше Людмила Ивановна рисует его отвратительный облик и его предательскую роль в деле Самарского — Чернышевского (С. 87—88).

На с. 220—221 подробно описан обряд гражданской казни над Самарским.

В других местах речь идет о швейной мастерской, «которая шила весьма недурно, хоть основана была не на чисто артельных началах, не совсем по мерке Веры Павловны» (С. 165), о вечере в аристократическом семействе и разговоре на современные темы — о дворянстве, мужиках, земских учреждениях, во время которого попутно упоминается роман Чернышевского (в симпатиях к «Что делать?» «заподозреваются один из гостей»), «дворцы из алюминия» (С. 183—184).

#### А. К. Шеллер-Михайлов. Засоренные дороги (1866)

Известно, что под воздействием романа Чернышевского, сразу после его появления стали возникать среди демократической молодежи коммуны и артели. Такие коммуны изображены, например, сочувственно в «Новых русских людях» Д. Л. Мордовцева и неприязненно в романе Н. С. Лескова «Некуда», но там прямо о воздействии «Что делать?» на их создание не говорится.

В этой связи обращает на себя внимание один эпизод из «Засоренных дорог» А. К. Шеллер-Михайлова. Катерина Ивановна, молодая женщина, порывающая со своей средой

---

<sup>13</sup> Об этом эпизоде см. на с. 156—157 книги Ю. М. Стеклова.

и желающая жить своим трудом, советуется о том, что ей делать, с Крючниковым, человеком демократических убеждений, успевшим уже отсидеть год в Петропавловской крепости. Катерина Ивановна задумала организовать артельную швейную мастерскую, но Крючников сначала не верит в ее переорождение, в успех этого дела и отговаривает ее. Вот отрывки из их разговора.

«— Читали ли вы о швейных мастерских? — спросила она после нескольких совершенно незначительных для нее фраз.

— Читал, — ответил Крючников.

— Нравится вам, что пишут об этом деле в романе?

— Да.

— Ну, а что бы вы сказали, если бы я вздумала открыть подобную мастерскую?

— Ничего не сказал бы.

— Это почему?

— Да она закрылась бы прежде, чем я успел бы что-нибудь сказать о ней».

И дальше:

«— Так, значит, это все глупости, мечты рассказаны в романе?

— Не мечты, только он не для вас писан»<sup>14</sup>.

Роман не назван, но из контекста совершенно ясно, что речь идет о недавно появившемся романе «Что делать?». Упоминание именно о швейных мастерских с очевидностью говорит об этом.

### И. С. Тургенев. Дым (1867)

В «Дыме» Тургенева, в главе о кружке Губарева, Матрена Суханчикова, отвечая на вопрос Бамбаева, читала ли она последний роман Ж. Санд, решительно заявляет: «Я романов больше не читаю <...> Теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

— Какие машины? — спросил Литвинов.

— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы ста-

---

<sup>14</sup> Шеллер-Михайлов А. К. Полн. собр. соч.: В 16 т. СПб., 1904. Т. 4. С. 121—122.

нут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос»<sup>15</sup>.

Разумеется, и здесь содержится прозрачный намек на «Что делать?», но совсем не сочувственный, а иронический. Не случайно этот рассказ вплетен в общий сатирический образ Суханчиковой.

### В. П. Авенариус. Поветрие (1867)

Не раз вспоминает о Чернышевском и В. П. Авенариус в своей антинигилистической «петербургской повести» «Поветрие». Его герои читают роман Чернышевского и говорят о нем<sup>16</sup>. Над изголовьем искренно заблуждающейся нигилистки Бредневой висят портреты Герцена, Добролюбова и Чернышевского; портрет Чернышевского висит и в организованной ею библиотеке (С. 282, 396, 400).

Но для идейной направленности повести наиболее характерны другие ее герои. Они привлекают «Что делать?» для оправдания своей распущенности и случайных связей или упрекают Чернышевского в том, что он предается фантазиям. Так, одна из них — Моничка, весьма легкомысленная женщина, уходя от мужа и сына к любовнику, говорит мужу, что он ей надоел, что жить с ним вместе она не может. «— Да куда ж ты, к кому? — А к Диоскурову, говорит. Он — Кирсанов, ты — Лопухов, я — Вера Павловна <...> — Да ведь это все, говорю, хорошо в книжке, в действительности же неприменимо. — Вот увидишь, говорит, как применимо. Я вообще, говорит, не вижу, чему тут удивляться: виновата ли я, что ты не умел разнообразить себя, что Диоскуров лучше тебя? Но я расстаюсь с тобою без всякой горечи в сердце» (С. 330—331).

Нигилист студент-медик Чекмарев, соблазвивший девушку и отказывающийся на ней жениться, в ответ на ее слова: «Ведь и Лопухов выпустил Верочку из «подвала», не окончив курса, а между тем они устроились отлично», — возражает следующим образом: «Ведь Лопухов — произведение бойкой фантазии романиста, которому ничего не стоило наделить своего героя невозможными благодетелями: назначь

---

<sup>15</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 159—160.

<sup>16</sup> Авенариус В. П. Бродящие силы. Две повести. СПб., 1867. С. 255, 330.



он ему хоть миллион годовой ренты — у него, у автора, от того ни гроша бы из кармана не ubyло; было бы только эффектней» и т. д. (С. 389).

Наконец в качестве эпиграфа к одной из глав повести взяты слова Рахметова о ревности (С. 297), причем вся эта глава является как бы полемикой с ним.

### Д. Л. Мордовцев

На страницах романа Д. Л. Мордовцева «Новые русские люди (Материалы для истории современного русского общества)», впервые напечатанном в 1868 году в журнале «Всемирный труд» (№ 5—8), упоминания о Чернышевском, романе «Что делать?» и его героях — Вере Павловне, Рахметове, Лопухове встречаются неоднократно. Эти места имеют разное назначение.

Иногда Мордовцев просто пользуется случаем, чтобы напомнить читателям о Чернышевском. Так, герой «Новых русских людей» литератор Ломжинов (во многом автобиографический образ), в форме дневника которого написана большая часть повести, прочитал якобы в «Саратовском справочном листке» объявление о том, что «Чернышевская ищет места при детях или смотреть за хозяйством». В связи с этим он размышляет: «Неужели это жена автора романа «Что делать?», диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности» и бесчисленного множества критических, эстетических, философских и политико-экономических статей, печатавшихся когда-то в «Современнике»? Неужели это г-жа Чернышевская, которой, кажется, г. Чернышевский посвятил свой роман «Что делать?» под инициалами «Другу моему О. С. Ч-ой»? Неужели она находится в таком крайнем положении? А дети ее сосланного мужа — что с ними?» и т. д. (№ 6. С. 28).

Другие места повести, где речь идет о Чернышевском, передают идейно-политическую атмосферу эпохи. Таковы отрывки, в которых говорится о литературно-музыкальном вечере в зале Руадзе в марте 1862 года, на котором Чернышевский выступил с воспоминаниями о незадолго до этого умершем Добролюбове (№ 7. С. 126), о том, как Чернышевский угваривал Н. И. Костомарова не читать лекций в помещении Городской думы, когда они были демонстративно прекращены в знак протеста против высылки из Петербурга в Ветлугу профессора П. В. Павлова (№ 7. С. 128—129).

Чернышевский и его роман играют известную роль в ха-

рактистике героев «Новых русских людей». Одна из них — Вера Релина, не удовлетворенная «гончаровскими» и «тургеневскими» женщинами, критически относится и к Вере Павловне из «Что делать?»: Релина считает, что «и она менее честна в чувстве, чем окружавшие ее мужчины, а кроме того уж слишком много любила нежиться в своей кровати после ванны» (№ 6. С. 13—14). Та же Релина «доказывала, что она может развить эстетическое чувство, вкус и понимание изящного не столько на образцах, на художественных произведениях, стоя перед картиной, перед статуей, сколько на самой природе, на людях и жизни». На шутовское замечание Ломжинова: «А! понимаю... вам... должно быть попадалась в руки диссертация Чернышевского» — она отвечает: «Да, попадалась» (№ 7. С. 98—99). Вспоминая «хорошее время» — начало 1860-х годов, она говорит: «Я пережила все это время, читая старые журналы, пережила и время Чернышевского и Добролюбова и последователей их» (№ 7. С. 123).

О другой своей героине — Лидии Елеонской, о том, как она выработала свои взгляды, Мордовцев сообщает, что «почти с детства питалась теориями Белинского, Чернышевского, Добролюбова» (№ 8. С. 7). Над ее письменным столом висели их портреты (№ 8. С. 14, 59).

И еще один интересный эпизод. Ломжинов как-то записал в дневник: «Меня теперь больше занимает Вера Павловна в «Что делать?» Как бы на нее подействовало, если б ее мужа заковали в цепи и послали в рудники? Пошла ли бы она за ним? А он взял ли бы ее с собою?» И непосредственно вслед за этим — без всякого перехода — идут строки о Рахметове — П. А. Бахметеве: «Ведь Рахметова я знал еще гимназистом. Мы жили с ним вместе. Только Чернышевский создал его сам — он не такой. Когда он уезжал из России, он прощался со мной и — странный человек! — он хотел пробраться в Новую Зеландию или в Америку, чтоб положить там основание государству на началах фаланстерии. Обещал мне писать из Америки — и с тех пор об нем ни слуху, ни духу вот уже десять лет» (№ 6. С. 35). Эти строки представляют особый интерес, потому что являются одним из первых печатных упоминаний о Бахметеве. Впоследствии Мордовцев писал о Бахметеве в статье «О Рахметове» (Северный курьер. 1900. 18 апреля. № 164).

Цензурный парадокс пореформенной эпохи. Во «Всемирном труде» Чернышевский и «Что делать?» названы полностью, а в позднейшем издании («Новые люди. Повесть из

жизни шестидесятых годов». СПб., 1886) появились в зашифрованном виде: Ч . . . ский (или Ч . . . кий, Ч . . . вский) и «Ч . . . . . ть?»

Как и в «Новых русских людях», в следующем наиболее известном романе Д. Л. Мордовцева «Знаменья времени» (1869) на многих страницах речь идет о Чернышевском. Так, слово проклятое «Что делать?» и «когда вы поймете, что же вам делать» звучат как цитаты<sup>17</sup>; на с. 25 говорится о том, что людям «старого закала» Чернышевский не нравится; на с. 277 — об учителе словесности по имени Николай Гаврилович, который тайно от начальства читал своим ученикам письмо Белинского к Гоголю; на с. 28 читаем: «Может быть, Чернышевский ... ушел еще дальше нас — мы не знаем... Он об этом молчит и, может быть, будет несчастнее Бонивара, шильонского узника, и не оставит своих записок» и т. д.

В центре романа Мордовцева образы демократической интеллигенции второй половины 1860-х годов, их настроения и искания. Его герои живут в годы спада революционного движения, неосуществившихся надежд на коренные перемены в русской жизни. Они ищут каких-то новых путей деятельности на благо народа, и в их сознании намечаются элементы будущего «хождения в народ», но без каких бы то ни было революционных целей.

С уважением относясь к Чернышевскому (одна из героинь романа говорит, например, что прежде «обожала» Рахметова (С. 121), «новые люди» Мордовцева считают, что уже «народились новые силы и нового слова от них ждет Россия» (С. 142), что им нужны «свои Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы» (С. 52), что нужно идти «дальше Лопуховых» (С. 65), что «даже Рахметовы *теперь* устарели» (С. 311, 314) и т. д. Эти мотивы проходят через весь роман.

Вместе с тем они признают большое значение деятельности Чернышевского в целом и «Что делать?», в частности. Говоря о современной литературе, о том, что она должна не только обличать темные стороны действительности, рисовать не только современные типы, но и «людей будущего», которые могли бы служить руководительным примером, «путеводной звездой» для молодого поколения, один из героев

---

<sup>17</sup> Мордовцев Д. Л. Знаменья времени. М., 1957. С. 30, 370.

романа замечает: «Лопухов, Кирсанов и Рахметов были тоже рефракторами если не живых лиц, то ходячих идей шестидесятих годов — и Лопуховы, Кирсановы и Рахметовы нашли подражателей, как нашла подражательниц и Вера Павловна... Я эти лица знаю, видел их, жил с ними» (С. 315—316). И дальше, подчеркивая, что автор такого романа должен быть незаурядным мыслителем: «Да вот вам пример: Чернышевский был далеко не художник... Филология, философия, политическая экономия, критика, общественные вопросы — вот над чем он работал <...>. А между тем его единственный роман, который он успел написать, возбудил бурю негодования художников, потащил за собою все тогдашнее молодое поколение, потому что в этом романе были не только «новые люди», как он их называл, но и «люди будущего», идеалы... Только хороший критик и ученый может быть хорошим романистом» (С. 318).

Через два десятилетия, в 1889 году появился роман Мордовцева «Профессор Ратмиров». Прототип главного героя — историк Н. И. Костомаров. Действие романа отнесено к началу 1850-х годов, времени ссылки Костомарова в Саратов (Желтогорск). Изображен он сам и группировавшийся вокруг него кружок. Упомянутый несколько раз Николай Гаврилович — Н. Г. Чернышевский. Так, по поводу затеянного пикника один из героев романа говорит: «Жаль только, что Николай Гаврилович не едет с нами. Да что: он теперь человек совсем пропащий, влюблен в эту цыгановатенькую барышню»<sup>18</sup>. В другой раз, когда его приглашают на прогулку в лодке по Волге, его застают за чтением Штрауса, и он тоже отказывается. Один из приятелей замечает: «...зафилософствовался: хочет одной своей головой выгрести навоз из всех человеческих голов» (№ 2. С. 110). Мы узнаем еще, что Николай Гаврилович иронизировал над славянофильскими пристрастиями Костомарова, и это едва не привело к дуэли (№ 2. С. 96). По мнению Ю. М. Стеклова, образ Е. И. Чернова (прототипом которого является приятель Костомарова и Чернышевского историк Е. А. Белов) также наделен некоторыми чертами Чернышевского<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Книжки «Недели». 1889. № 2. С. 88.

<sup>19</sup> См. с. 148—150 его книги.

## Я. П. Полонский. Женитьба Атуева (1869)

Рассказ, как определил его сам автор, а вернее, повесть Я. П. Полонского «Женитьба Атуева» не может быть отнесена к числу антинигилистических произведений с их обнаженной разоблачительной тенденцией. Литератору Атуеву, поверхностно воспринявшему передовые идеи 1860-х годов, противопоставлен его товарищ, подлинный демократ-разночинец Тертиев. Но именно в связи с Атуевым возникает Чернышевский. «Появившийся в то время роман «Что делать?» произвел на Атуева потрясающее впечатление. Прочтя его, он пошел еще далее, он решил, что никогда не женится, найдет жену, но не женится. Она будет работать в артели швей, он в артели литераторов, и все пойдет, как по маслу. В этом смысле он проповедовал и проникался ненавистью к прежним писателям; до романа «Что делать?», говорил он, нет русской литературы»<sup>20</sup>. Однако все мечты Атуева совершенно развеялись; он женился и ни о каких артелях уже не думал. Кроме того, описание одолевавшей его ревности тоже, по-видимому, полемически ориентировано на роман Чернышевского, хотя об этом нигде не говорится.

Роман упоминается и в характеристике нигилистки Сигаревой, о которой узнаем следующее: «Она искренно не понимала ни одного лирического стихотворения, ни одной драмы, основанной на страстях, и все романы, за исключением «Что делать?», считал пустяками и вздором, не стоящими внимания» (С. 305).

Наконец, критическое отношение к социальной утопии Чернышевского отразилось в рассуждениях об отрезвляющем влиянии на «петербургского кабинетного человека» поездки по России. Полонский пишет: «Сила новых, часто грустных и тяжелых впечатлений не может иногда не поколебать кой-каких кабинетных фантазий и убеждений, на них построенных. Дворцы из алюминия как-то сами собой вылетают из головы посреди безлюдных пространств и многолюдного невежества» (С. 280).

## И. А. Кушевский. Николай Негорев (1871)

Описывая в романе «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» новые веяния конца 1850-х годов, И. А. Кушевский замечает об одном из своих героев: «Порой он сни-

<sup>20</sup> Полонский Я. П. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 277.

сходил до некоторых объяснений, и мы узнавали, что такая-то не подписанная статья принадлежит Чернышевскому, который пишет очень хорошо, что над Якушкиным смеяться не следует, что — бов — псевдоним Добролюбова и проч. и проч.»<sup>21</sup>.

Весьма возможно, что описание образа гражданской казни над Овериным (С. 307—308) какими-то деталями (например, брошенный из толпы букет) восходит к гражданской казни Чернышевского.

#### А. Ф. Писемский. В водовороте (1871)

Действие романа отнесено к 1860-м годам. Один из его главных героев, князь Григоров — человек, оказавшийся в сфере некоторого влияния передовых идей этого времени; «не древний и не художественный мир волновал его душу и сердце, а, напротив того, мир современный и социальный»<sup>22</sup>; он много читает, главным образом, по естественным наукам. Однажды у него происходит разговор с любимой женщиной Еленой Жиглинской, в котором затронуты отношения между ними и женой князя.

«— Ревность никак не высокое чувство и извинительна только самым необразованным людям! — проговорил он, нахмутив лоб.

— Я это знаю очень хорошо! — возразила Елена. — Но она в таком случае не извинительна, когда кто прямо говорит: «я вас не люблю, а люблю другого!», а если говорит напротив...» (С. 61). Здесь несомненно по-своему отразились рассуждения о ревности в «Что делать?».

В дальнейшем (С. 65) Елена в числе великих русских людей, наряду с Ломоносовым, Пушкиным и Белинским, называет и Чернышевского.

#### К. М. Станюкович. Без исхода (1873)

##### Два брата (1880)

В романе К. М. Станюковича «Без исхода», действие которого отнесено к 186\* году, есть такой эпизод. Помещик и заводчик Стрекалов беседует со своей дочерью Ольгой, кото-

<sup>21</sup> Кушевский И. А. Николай Негорев. Роман и маленькие рассказы. М., 1984. С. 138.

<sup>22</sup> Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 8 т. СПб., 1911. Т. 7. С. 14.

рую «развивает» приглашенный в качестве учителя для её младшего брата Черемисов.

«— Ты, Ольга, о чем это так горячо беседовала вчера с Черемисовым? — спросил на другой день Стрекалов у Ольги.

Ольга вспыхнула...

— Мы ни о чем не говорили: я рассказывала о том, что прочитала.

— А ты что читала?

Ольга вспыхнула еще более...

— Я, Ольга, мой друг, спрашиваю тебя, как друг... Ты разве меня перестала считать другом?

И Стрекалов ласково обнял дочь.

— Я читала, папа, Шлоссера.

— А книгу кто дал?

— Черемисов, — чуть слышно проговорила девушка»<sup>23</sup>.

Нельзя сказать с уверенностью, что именно читала Ольга, но напомним все же, что многотомные «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи» и «Всемирная история» Ф. Шлоссера в русском переводе были подготовлены под руководством Чернышевского, а частично и переведены им.

В романе К. М. Станюковича «Два брата» один из братьев — Вася, борец за народное счастье, занимается, подобно Рахметову (имя которого, впрочем, не названо), закаливанием своего организма, делает гимнастику, спит на тощей соломенной подстилке, «ест так же, как и мужик» (Т. 3. С. 51—52, 103, 216).

О другом герое романа, Лаврентьеве, который под влиянием «веяния шестидесятих годов» отдал почти всю свою землю крестьянам, сказано: «Новый мир идей понемногу стал открываться перед ним; статьи Добролюбова и другого известного писателя произвели на молодого человека потрясающее, ошеломляющее впечатление» (Т. 3. С. 182). «Известный писатель» — конечно, Чернышевский; это не вызывает никаких сомнений, поскольку он упомянут рядом с Добролюбовым, и к тому же, если бы имелся в виду не Чернышевский, имя этого писателя было бы названо.

Наконец появляющийся на страницах «Двух братьев» редактор прогрессивного журнала Платонов, сетуя на распространное теперь «неуважение к печати», легковесное

---

<sup>23</sup> Станюкович К. М. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1906. Т. 2. С. 225.

отношение к делу литератора, на то, что в редакцию теперь ходят, «точно в кабак», вспоминает: «Прежде, бывало, приходишь в редакцию, как в святилище какое-то. Да, я помню, как я понес свою первую статью. Знаете ли, поджилки дрожали, ей богу. Ну, вдобавок, и судья-то кто был? Николай Гаврилович!» (Т. 3. С. 281).

А. Незлобин (псевдоним А. А. Дьякова). Кружковщина

#### Рассказы (1879)

Связанный одно время с харьковским, а потом с заграничными революционными кружками, Дьяков вскоре разошелся с ними и напечатал в «Русском вестнике» Каткова в середине 1870-х годов несколько аляповатых разоблачительных рассказов, вошедших затем в сборник «Кружковщина». Чернышевский рисуется в них в негативном плане как кумир малосведущей, необразованной молодежи. Вспоминаются в этой связи и примечания к «Основаниям политической экономии» Милля (см.: С. 23, 64, 66, 242). «Один Чернышевский сто́ит всех ваших Вольтеров... Самому Миллю нос утер», — говорит, например, участница одного из заграничных кружков.

#### Рассказы (1881)

Героиня рассказа Дьякова «В цветах», «современная женщина», мечущаяся между мужем и возлюбленным, высланным за политическую неблагонадежность, опасаящаяся за свое будущее, вспоминает роман Чернышевского: «У Верочки в «Что делать?» совсем не так: муж сам устраивает ее с другом... Это честно, великодушно...» (С. 267).

#### Н. Арнольди. Василиса (1879)

Роман «Василиса» — из жизни русских революционных эмигрантов 1870-х годов — пользовался в свое время популярностью у демократической интеллигенции. В нем имеется эпизод, относящийся к нашей теме. Речь идет о споре между главной героиней и революционером Борисовым, который в другом месте говорит, что «времена Рахметовых прошли»<sup>24</sup>. Отправным пунктом этого спора (С. 45—50) является прочитанный ими вместе роман Чернышевского «Что делать?».

<sup>24</sup> Арнольди Н. Василиса. Берлин. 1879. С. 389.



Они спорят о любви и ее месте в жизни человека, о том, насколько человек должен подчиняться своему влечению. При этом Василиса, женщина демократических взглядов, склонна осуждать Веру Павловну, между тем как обычно ее осуждали в реакционных и обывательских кругах за нарушение вековых моральных устоев.

«Загорскую возмущала, — пишет Арнольди, — развязность, с которою героиня предается страстному влечению к другу своего мужа. Она называла это распущенностью.

— Да ведь она боролась, — возражал Борисов.

— Разве так борются? Такая неуспешная борьба, по-моему, просто малодушие и доказывает только отсутствие воли...

— Неужели вы не допускаете, что страсть в данную минуту может взять верх над силою воли?

— В данную минуту, да; но здесь не про данную минуту говорится; здесь целый ряд недель и месяцев, в продолжение которых длится борьба. Я не верю в эту борьбу, Сергей Андреевич; мне кажется, для истинно честной женщины такие колебания существовать не должны. Вопрос очень прост, стоит только поставить его просто и не мудрить с своей совестью; одно из двух: или признаешь свое чувство законным и отдаешься ему; или же, наоборот, сознаешь, что оно незаконно и тогда откладываешь всякие желания и надежды в сторону. Это даже не вопрос нравственности, а просто дело логики и рассудка».

#### И. А. Гончаров. Литературный вечер (1880)

В очерке И. А. Гончарова описано чтение великосветского романа, автором которого является крупный сановник (имеется в виду П. А. Валуев), и вызванные им споры, касавшиеся не только самого романа, но и общих эстетических вопросов. В числе слушателей и активных участников этих споров был радикальный критик Кряков<sup>25</sup>. В черновой рукописи в процессе споров возникают имя Чернышевского и его роман. Эти места были изменены или вовсе исчезли в печатном тексте очерка.

Один из слушателей говорит:

« — ...Здесь назвали «Что делать?» — книгу, которая всего менее подходит под ваше определение романа...

---

<sup>25</sup> В образе Крякова отмечены некоторые черты и мнения М. Е. Салтыкова; см.: Гейро Л. С. И. А. Гончаров и М. Е. Салтыков-Щедрин // Вестник Ленинградского университета. 1967. № 14. История. Язык. Литература. Вып. 3.

Он обратился к Крякову.

— Пожалуй, не роман, но это великое произведение ума!.. — глухо сказал Кряков.

— Пусть великое произведение, но не искусства же! — заметил профессор.

— Пора бы эти школьные перегородки уничтожить! — говорил Кряков».

В другом месте Кряков заявляет, что выступит с резкой критикой, если прослушанный роман будет напечатан.

«— Да я отделаю его! что же: разве можно спускать!

— Но ведь такой критики, как ваша, не выдержит ни одно произведение и ни в какой литературе, — сказал Чешнев. — Вы вон хвалите роман «Что делать?»: но разве он подлежит критике как роман?

— Оставьте в покое эту книгу: она — протест, противоположный протесту вашего автора! Там затронуты великие идеи нового будущего порядка вещей: перед этим все должно склониться. Роман здесь ничего не значит.

— *Qu'est ce que c'est que ce livre: tu a lu?*<sup>26</sup> — спросил Сухов Уранова.

Тот покачал отрицательно головой.

— *C'est une horreur*<sup>27</sup>, — сказал один из гостей, — за нее сослали автора в Сибирь и, кажется, прежде высекли. Он потом бежал в Америку на купеческом судне, а оттуда в Англию, — хотел поднять Польшу, даже пробовал вовлечь Швецию <...>.

Студент расхохотался.

— Это вы смешали Бакунина с Чернышевским, — сказал он, и даже Крякову стало смешно.

— Какой осел этот господин, — сказал он тихо студенту <...>.

— Я упомянул об этой заповедной книге, — начал опять Чешнев, — (которую, впрочем, признаюсь, не мог одолеть) только потому, что у автора достало смелости выдать этот памфлет за роман — и младшая незрелая часть публики приняла ее не за художественное изображение жизни, конечно, которое вы поставили условием романа, а за другое»<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Что это за книга: ты читал ее? (франц.)

<sup>27</sup> Это ужас, (франц.)

<sup>28</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 7. С. 502—503.

Почему все это не вошло в печатный текст «Литературного вечера» — не вполне ясно; может быть, по соображениям цензурного характера.

А. И. Эртель. Иностранец Липатка и помещик Гуделкин  
(1882)

В этом очерке, входящем в «Записки степняка», А. И. Эртель нарисовал портрет европеизированного купца и будущего фабриканта Липата Чудакова. Одним из штрихов для его характеристики являются книги западных экономистов, хранящиеся в его шкафу. Восторженно относящийся к Чудакову, к его грандиозным проектам помещик Гуделкин говорит: «Вот вам божественный Мальтус, вот красноречивейший Леруа-Болье, вот Гарнье, Курсель-Сенель... здесь обстоятельный Мак-Кулох, тут серьезнейший Буханан... Это его любимейшие». И дальше прибавляет: «А тут, на нижней полке, как он говорит, для курьеза собраны Прудон, Милль с «примечаниями», Лассаль»<sup>29</sup>, Милль с «примечаниями» — это «Основания политической экономии» Милля в переводе и с примечаниями Чернышевского.

А. Н. Апухтин. Незавершенный роман

Замысел романа А. Н. Апухтина из эпохи Крымской войны и подготовки крестьянской реформы относится к концу 1880-х годов. Он был напечатан после смерти Апухтина, в 1896 году.

В 5-й главе 2-й части романа есть такое место:

«Проходя мимо письменного стола, Афанасий Иванович увидел «Современник» и остановился.

— Это, вероятно, последняя книжка. Прочли ли вы в ней статью об общинном владении?

— Да, я только что ее начал...

Афанасий Иванович сел в кресло, стоящее перед письменным столом.

— Начало статьи весьма остроумно.

Он прочел вслух первую страницу, после чего сказал:

— Впрочем, начало вы уже читали. Но дальше есть одно место поистине примечательное. — Он долго искал это место, наконец, нашел и с большим чувством прочитал две страницы.

---

<sup>29</sup> Эртель А. И. Записки степняка. М., 1958. С. 413—414.

— Теперь вам это место непонятно, так как вы не знаете предыдущего, но когда вы прочтете все, то увидите, что это действительно примечательно»<sup>30</sup>.

Без сомнения, речь идет об одной из статей Чернышевского по этому вопросу, вероятнее всего о статье «Критика философских предубеждений против общинного владения».

### С. В. Ковалевская. Нигилист

Отрывок из неоконченной повести С. В. Ковалевской о Чернышевском «Нигилист» был написан в 1890 году, полностью напечатан в 1974 году (Ковалевская С. В. Повести. М., 1974). Чернышевский выведен в ней под именем Михаила Гавриловича Чернова. В отрывке воссоздан его общий облик, он показан во время работы и отдыха, описан по случаю выхода очередного тома «Современника». С. В. Ковалевская допустила некоторые неточности и анахронизмы.

### М. Горький

В пьесе М. Горького «Враги» (1906 — д. 1) купец и фабрикант Михаил Скроботов, люто ненавидящий народ, говорит: «Я команду народом пятнадцать лет... Я знаю, что это такое — добрый русский народ, раскрашенный поповской литературой <...> Все эти Чернышевские, Добролюбовы, Златовратские, Успенские... <...> Нет, знаете, из России толку не выйдет никогда! <...> Страна анархизма! Органическое отвращение к работе и полная неспособность к порядку»<sup>31</sup>.

С пренебрежением отзывается о Чернышевском крупный делец Захар Бердников в незаконченной ч. 4 «Жизни Клима Самгина»: «Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворца из него литераторы сделали за мужиколюбие» (Т. 22. С. 74).

В ч. 1 того же произведения (1927) Варавка поучает, что «историю делают не Герцены, не Чернышевские, а Стефенсоны и Аркрайты» (Т. 19. С. 134), а его дочь Лидия с пренебрежением отзывается о «Что делать?»: «...ведь это же глупый роман! Я пробовала читать его и — не могла. Он ведь не стоит двух страниц «Первой любви» Тургенева». И несколько дальше она прибавляет: «Мужчина, который уступает женщину другому, конечно, — тряпка» (С. 114—115).

<sup>30</sup> Апухтин А. Н. Соч. М., 1985. С. 358—359.

<sup>31</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1950. Т. 6. С. 473.

Там же у писателя-народника Катина висят над диваном портреты Чернышевского, Некрасова, Герцена и Салтыкова (Т. 19. С. 121). А в 4-й части доживающий свою жизнь присяжный поверенный Прозоров вспоминает: «Толстой-то, а? В мое время... в годы юности, молодости моей, — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — впереди его были. Читали их, как отцов церкви, я ведь семинарист. Верования строились по глаголам их. Толстой незаметен был» (Т. 22. С. 270).

Приведенные факты свидетельствуют о непрекращавшемся внимании литераторов второй половины прошлого века к личности Чернышевского и его писательскому наследию. Дальнейшие разыскания в этом направлении значительно обогатят наши представления о литературной жизни, протекавшей в острой идеологической борьбе.

Е. Г. БУШКАНЕЦ

## ПИСЬМА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Лучшая книга о жизни Н. А. Добролюбова написана им самим. Она писалась почти всю его сознательную жизнь — немногим более четырнадцати лет. Это книга о его пламенной любви к родине, о его ненависти к «внутренним туркам», о его беззаветном служении русской литературе, о его дружбе с Чернышевским и Некрасовым, о мучительных поисках женской любви, о том, как тяжело было жить на свете этому гениальному человеку — книга его писем.

Историческое значение писем Добролюбова первым оценил Чернышевский. Уже в конце 1861 года, сразу после смерти своего друга, Николай Гаврилович начал собирать его переписку, а затем в Астрахани в 1888—1889 годы подготовил ее к печати, снабдив поистине бесценными комментариями. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», содержавшие двести одиннадцать писем Николая Александровича, а также многочисленные письма к нему, вышли из печати, как известно, уже в 1890 году, после смерти Чернышевского<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Свердлина С. В. Чернышевский в 1883—1889 годы // Филол. науки, 1966. № 2. С. 109—122; Богград В. Э. Неизвестное предисловие Н. Г. Чернышевского к «Материалам для биографии Н. А. Добролюбова» // Русская литература. 1975. № 2. С. 168—179; Краснов Г. В. Н. Г. Чернышевский как биограф Н. А. Добролюбова // Чернышевский и его эпоха. М., 1979. С. 27—37.

Напряженные поиски новых эпистолярных текстов на протяжении почти целого столетия дали не так уж много — новейшее Собрание сочинений Добролюбова включает 294 письма. Можно смело утверждать, что если бы Чернышевский не проявил в конце 1861 года — первой половине 1862 года такой энергии по собиранию эпистолярного наследия Добролюбова, некоторые из числа известных в настоящее время писем могли бы оказаться утраченными.

Письма Добролюбова — ценнейший источник изучения русской литературы, журналистики и общественно-политической жизни второй половины 1850 — начала 1860-х годов. Они содержат важные сведения об истории журнала «Современник», о кружках революционной разночинной молодежи, о Чернышевском, Некрасове и других выдающихся деятелях. Исключительное богатство содержания писем позволяет исследователям обращаться к ним при изучении различных аспектов. В этой статье остановимся лишь на некоторых, самых общих особенностях эпистолярного наследия великого сподвижника Чернышевского.

Первая из особенностей писем Добролюбова — неприятие прочно укоренившихся в той среде, из которой он вышел, канонов эпистолярного жанра. Уже в первом письме к родителям, написанном по дороге в Петербург из Москвы 6 августа 1853 года, отсутствовали традиционные поклоны многочисленным родным. «Если кто-нибудь будет обижаться, что поклонов нет, то, умоляю Вас, напишите, — замечал Добролюбов, — следующее письмо будет состоять из поклонов, низких, низжайших и глубочайших» (IX, 30). Чернышевский в своих комментариях к переписке Добролюбова определил «поклоны и напоминания о поклонах, которых так много в переписке Николая Александровича с его родными» формалистикой того круга, к которому принадлежали родные Добролюбова и который держался «старомодных обычаев». «Слыша, что бывший знакомый прислал письмо кому-нибудь, — писал не без иронии Чернышевский, — провинциалы того времени при встрече с получившим письмо спрашивали, не присланы ли поклоны им, и если получивший письмо имел неосторожность отвечать правду, что поклонов им не прислано, они находили обязанностью светского приличия пожалеть, что не приславший поклонов забыл их»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. М., 1890. С. 40.

После смерти сначала матери, а затем и отца переписка с многочисленными родственниками представляла для Добролюбова немалые трудности. Одна из его родственниц, К. П. Захарова, утверждала, например, что «столица, молодость и, наконец, теперь *своеволие*» настолько изменили Добролюбова, что он и «оправдаться не имеет чем»<sup>3</sup>. Тетка В. В. Коловская упрекала Добролюбова в письме от 22 декабря 1854 года: «Мы все так же Вас любим; да и от чего нам перемениться? — мы живем все по-старому; напротив, Вы так, кажется, нами стали гнушаться, простыми незнатными родственниками...»<sup>4</sup>. Этот мотив проходит и через ее последующие письма. «Вы и сами не думаете того, что написали, — писал ей Добролюбов 24 марта 1856 года, — будто знакомство с знатными людьми заставило меня гордиться и будто я стану смеяться над Вашими письмами». Касаясь ее приглашения приехать в Нижний Новгород на летние каникулы, он продолжал: «Зачем же с таким горделивым смирением говорите Вы мне, что ежели не погнушаюс и пр... Как будто я стал уже на такой высоте, что только во дворце могу жить!.. Нет, тетенька, если бы Вы знали, как я живу в институте, Вы не сказали бы это!..» И дальше: «Боюсь, что Вы опять рассердитесь на мое письмо и скажете: «Ну, вот и правда, что мы не умеем к нему писем писать... Где уж нам к этакому ученому и пр...» Но письмо простое, искреннее, написанное от сердца, — поверьте, что оно всегда для меня и для всякого порядочного человека дороже и лучше самого лучшего светского красноречия» (IX, 226).

Характерно в этом плане и письмо Добролюбова другой тетке — Ф. В. Благообразовой от 4 ноября 1857 года: «Вы не отвечали на первое и вместе с тем последнее письмо мое, посланное еще в начале августа; из этого я заключаю, что оно Вам не понравилось. Делать нечего — надо себя удерживать и не писать к Вам писем в веселые минуты, чтобы Вы не приняли веселой шутки за насмешку и не обиделись. В самом деле, простите меня, Христа ради, если я в последнем письме не высказал должного уважения к Вам: вперед этого уже не будет» (IX, 293).

Свое отношение к переписке с родственниками Добролюбов выразил в письме к двоюродному брату Михаилу Ивановичу Благообразову 15 февраля 1858 года. «Я, конечно, отли-

<sup>3</sup> Там же. С. 207.

<sup>4</sup> Там же. С. 187.

чаю тебя, — оговаривался Николай Александрович, — но все же боюсь, что бы и ты не стал толковать мои слова в кривую сторону. Поэтому нельзя к вам в Нижний писать в первую свободную минуту, без размышлений и соображений, просто и откровенно. Нужно дожидаться более свободного времени и засесть за письмо на несколько часов. Иначе выйдут такие толкования, что только упаси господи. Ежели в скверную, ругательную минуту письмо написать — скажут на нас сердится, нами не доволен, нас ругает... Если в веселую минуту посмеяться вздумаешь в письме — опять беда: мы ему смешными кажемся. Поэтому и надо стараться, чтобы в письме ни к одному слову нельзя было придаться» (IX, 297).

Сложности возникали даже в переписке с сестрами. От них шли, по определению Добролюбова, «церемонные письма». Получишь такое «церемонное письмо, — замечает он, — и не знаешь, что делать с ним». Поэтому он так радовался, когда получал письмо, написанное «просто и разумно» (IX, 468).

Вторая особенность писем Добролюбова — их удивительная искренность. Почти в каждом письме Николая Александровича можно сказать, в каком настроении оно написано; впрочем, в большинстве случаев он этого настроения и не скрывает. Вот письмо, написанное в хорошую минуту: «Я теперь сам-то доволен, не знаю чем. Может быть тем, что вчера, с десяти до двух с половиной часов, сидел у одного восторженного господина и вместе с другими пятью или шестью, говорили о том, что мне теперь так дорого» (IX, 350). А вот ответ на сообщение о самоубийстве учившегося в московской гимназии мальчика-болгарина. Он написан в нелегкие для Добролюбова дни. «Что мальчик удавился — это, по моему, хорошо; скверно, что и другие не давятся: значит эта болотная ядовитая атмосфера прихлала как раз по их легким и они в ней благоденствуют, как рыба в воде. Вот что скверно. А то — удавился! Велика важность!» Добролюбов с сарказмом добавляет, что радуется за мальчика и проклинает свое малодушие, что не может последовать его примеру (IX, 401). Одно из писем Добролюбова выдержано в «шутковском тоне», но он тут же просит адресата этим тоном не оскорбляться: «У меня тяжело на душе, и если б стал писать серьезно, то верно, расплакался бы, что было бы еще хуже» (IX, 315). В такие минуты из-под пера выходили «неклеящиеся» письма (IX, 306). Трагические ноты проскальзывают



в письмах тяжелобольного Добролюбова из-за границы. «Грудь у меня очень расстроена, — пишет он Некрасову, — да оказалось, что и нервы расслаблены совершенно: почти каждый день мне приходится делать над собой невероятные усилия, чтобы не плакать, и не всегда удается удержаться. И не то, чтобы причина была, — а так, какое-то неопределенное недовольство, какие-то смутные желания одолевают, воспоминания мелькают, и все вместе так тяжело» (IX, 426).

Иногда письмо Добролюбова превращалось в своего рода исповедь. «Во мне есть убеждение (очень вероятно, что и несправедливое) в том, что я по натуре своей не должен принадлежать к числу людей дюжинных и не могу пройти в своей жизни незамеченным, не оставив никакого следа по себе... Иногда приходится мне встречать людей тупых и бесполезных, но громадными средствами обладающими для образования и развития себя. Тогда я думаю: если бы я так был воспитан, если бы я столько знал и имел средств — какой бы замечательный человек из меня вышел!.. Впрочем, пора мне прекратить мою исповедь...» (IX, 308).

Интересны письма Добролюбова к тем из товарищей, в отношениях с которыми, в силу их мнительности или болезненной подозрительности, у него возникали какие-то недоразумения. Он объяснялся с ними прямо и откровенно. «Я не нахожу причины, которая могла бы тебя оттолкнуть от моей дружбы, — писал Николай Александрович одному из них. — Мне кажется, главное в этих отношениях — взаимная доверительность. Я в тебя верю и искренне желаю, чтоб ты в меня тоже верил. Прежде всего — скажи мне все, что могло накопиться у тебя на душе против меня, вырази все свои сомнения, обругай меня; поверь, что я искренно, не рисуясь, смогу тебе ответить на твои обвинения — одни, может быть, признать справедливыми, другие отвергнуть или объяснить, и вообще поставить наши отношения так, чтобы не оставалось между нами более недоразумений и таких тайных мыслей или дел, открытия которых мы могли бы бояться» (IX, 332).

Письмам к друзьям и товарищам отдавались свободные час или полчаса, когда не было «близкой грозы срочного дела» (IX, 299—300). Почти все письма Добролюбова написаны в те дни, когда была завершена работа над очередным номером «Современника». 13 сентября 1858 года он сообщил И. И. Бордюгову, что «отработал свое дело в «Современнике» на сентябрь» и теперь может садиться за письмо (IX, 327).

Другое письмо к нему он начинал словами: «Миленький! «Современник» вылез, наконец, вчера, и я свободен — то есть до первой присылки корректур, которые, вероятно, явятся завтра. Пользуясь «сим кратким мигом», пишу к тебе несколько строчек...» (IX, 384). Срочной работой для «Современника» он оправдывает задержку с ответом (IX, 344), обещает после окончания работы над очередным номером журнала ответить на письмо (IX, 319).

Стремление Добролюбова всячески активизировать своих корреспондентов, получить от них максимум информации — еще одна особенность его эпистолярного наследия.

Еще в годы пребывания в институте Добролюбов обращался к тетке Ф. В. Благообразовой писать ему «о переменах учащихся в Нижегородской гимназии и институте». Опасаясь, что просьба эта может показаться тетке слишком неожиданной, он добавлял — «Это для меня очень нужно» (IX, 198). От бывшего товарища по семинарии, поступившего в Казанскую духовную академию, В. В. Лаврского, он просил подробных сведений не только о жизни бывших товарищей, но и самой академии (IX, 254).

Показательны письма Добролюбова в Рязань к товарищу по институту А. П. Златовратскому. «Напиши мне, пожалуйста, — обращается к нему Добролюбов 3 апреля 1858 года, — о Рязанской семинарии и ее новом ректоре», — и тут же поясняет, почему его интересует деятельность отца Макария в Рязани. «Он человек недалекий, но между монахами один из лучших. Как духовный администратор он, может быть, и скотина. Узнай и напиши мне это». Затем следует упоминание М. Е. Салтыкова, назначенного в Рязань вице-губернатором. «Пиши мне о нем, пожалуйста», — просит Добролюбов. Наконец, следует вопрос более общего характера — о настроении рязанских дворян: «Что ваши рязанцы со своими крестьянами? Вы еще не двинулись, кажется? Верно, нет между ними Ляпуновых Прокопиев! Жалко это очень!» (IX, 300).

16 ноября 1859 года Добролюбов обращается к Златовратскому с многозначительным упреком. «Обещался ты мне писать, Александр Петрович, не дожидаясь моего письма, а между тем обещания не исполнил. Что с тобою делается? Как идет твоя рязанская жизнь? Что ваше общественное мнение и пр. Помнится, ты хотел сообщать мне разные подробности на этот счет, и я очень желал бы их знать, особенно теперь, когда к возбуждению толков есть так много поводов. Уважь, пожалуйста, пришли что-нибудь рязанское» (IX, 393).

Добролюбов не оставляет сомнений у своего корреспондента, что его интересуют новости общественно-политического характера.

Другого товарища, И. И. Бордюгова, Добролюбов извещает в сентябре 1859 года: «В последнее время я приобрел человек пять-шесть новых знакомых; но только один из них до сих пор кажется мне порядочным человеком. Прочие — современные либеральчики». И тут же обрушивает на него вопросы: «Что-то у вас в Москве? Что Буренин? Что Иловойский?» Интерес к Иловойскому вызван, оказывается, тем, что в его статье о Дашковой в «Отечественных записках» Добролюбов нашел «выкраски» из статьи Герцена в «Полярной звезде». «Он может, кажется, — продолжает Добролюбов, — писать эффектные статьи или по крайней мере выбирать эффектные предметы». И снова вопросы: «Нет ли у него еще чего-нибудь готового или начатого? Поговори ему и спроси...» (IX, 384—385).

И когда Добролюбов писал М. И. Шемановскому «Не в одном Ковне тяжело и грустно, мой милый Миша. Горько и здесь, горько и в Москве, горько и в Казани». Он имел все основания для такого рода утверждений. Он был прекрасно информирован о том, что творится в Москве, Казани, Харькове, Рязани, Ковно...

Добролюбов очень дорожил каждым из своих корреспондентов. Предпринимая попытку восстановить прерванные отношения с Н. П. Турчаниновым, Добролюбов пишет Бордюгову: «Надеюсь, что дело это кончится хорошо, и мы по-прежнему будем друзьями. В самом деле — он забитый и сбитый в сторону, но все-таки честный человек, так честный, что редко можно встретить таких. Что же с ним вздорить из-за пустяков? Честные люди нужны теперь больше, нежели когда-нибудь». И дальше: «Скажи мне, где Львов? Я и к нему написал бы» (IX, 360).

Во время заграничной поездки Добролюбов встретился где-то с художником К. Д. Флавицким. «Как он и где? — пытается через некоторое время выяснить Николай Александрович. — Он мне обещал писать, да не пишет» (IX, 488). Даже от причетника русской православной церкви в Берлине П. Н. Казанского Добролюбов стремится получить необходимую ему информацию. Из Парижа он обращается к нему с просьбой «написать что-нибудь о немцах, так как Париж насчет всего немецкого очень слаб». «Что немцы теперь об Венеции и о папе пишут? Нет ли политических брошюр

замечательных по этой части? Нет ли также новых русских книжек, полюбопытнее Головинских?» (письмо от 16/28 сентября 1860 года — IX, 448). И снова: «Что ваши немцы подельывают? Хотят воевать с Италией, кажется? Недавно появились записки какого-то Снидера об австрийском правосудии. Любопытные вещи там есть; только не знаю, не мошенник ли сам-то он. А узнать не от кого. Не попадались ли Вам отзывы об этой книге в немецких газетах?» (письмо от 3/15 мая 1861 года — IX, 467).

Эта жажда широкой информации и к письмам, несущим ее, напоминает А. И. Герцена.

При этом следует иметь в виду, что каждый раз, когда Добролюбов садился за письмо, у него возникала тревожная мысль, что оно может быть прочитано на почте сотрудниками Третьего отделения или всякого рода местными любопытствующими Шпекинами. Необходимость учитывать возможность перлюстрации и составляет еще одну, очень важную особенность писем Добролюбова.

Интересно в этом плане письмо к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 года. В нем Добролюбов сообщал, что все более сближается с Чернышевским, и рассказывал о своих беседах с ним. «С Н. Г. мы толкуем не только о литературе, но и философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п.». Добролюбов замечал, что не может привыкнуть различать время, когда сидит у Чернышевского, и два раза даже был вынужден остаться у него ночевать — «до того досиделся». Далее следовала многозначительная фраза: «Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно» (IX, 248). На возможность перлюстрации указывал Добролюбов и в письме к М. И. Шемановскому от 12 сентября 1858 года: «Я хотел бы тебе написать много и горячо о той мрачной, бессильной, ожесточенно-грустной тишине, которая господствует теперь между нашими лучшими людьми, после тех неумеренных надежд, каким предались три года назад... Но я не пишу потому, что на письме такие вещи могут быть дурно понятны, и при том я не знаю, до какой степени не похожи на господина Шпекина ковенские и прочие почтаря. Неприятно было бы, если бы задушевное описание, с помещением других лиц, попало бы, вместо тебя, черт знает кому» (IX, 323). Возвращаясь из-за границы, Добролюбов не решается послать письмо из Одессы в адрес типографии,

в которой печатался «Современник», потому что «письмо,— замечает он, — адресованное в типографию, непременно возбуждает любопытство губернской почтовой конторы» (IX, 477).

Еще большую осторожность Добролюбов вынужден был соблюдать в письмах из-за границы. Заканчивая письмо Шемановскому из Лейпцига от 11 июня 1860 года, Добролюбов замечает, что речь в нем идет только об одном «вздоре». Такую бессодержательность письма, оговаривается Николай Александрович, можно «извинить *заграничностью* письма, которое, конечно, будет прочтено на почте» (IX, 422).

Зато в случаях, когда письмо отправлялось с какой-нибудь оказией, он позволял себе быть достаточно откровенным. «Наконец могу писать и тебе, мой друг Михаил Иванович, писать о деле, о котором через почту писать невозможно», — начинается письмо к Благообразову в июне 1855 года об истории со стихотворением на юбилей Греча; это письмо было передано с Шемановским, направлявшимся в Вятку и по дороге останавливавшимся в Нижнем Новгороде. Рассказу о том, как было раскрыто авторство Добролюбова и как он «показал вид чистосердечного раскаяния», предшествует строгое предупреждение: «Никому ни слова не говори о том, что будешь читать теперь». И, как результат того, что благодаря «удобному случаю» удалось проинформировать М. И. Благообразова о положении дел не по почте, — «Ты можешь лучше понимать потом намеки, которые буду я делать в других письмах» (т. е. в письмах, отправляемых обычным путем, — IX, 195—196).

Эти намеки не всегда оказывались понятными некоторым корреспондентам Добролюбова. Так, в письме к С. Т. Славутинскому (служившему в Рязани и, по рекомендации жившего там А. П. Златовратского, начинавшему сотрудничать в «Современнике») 17 ноября 1858 года упоминалось о свирепом подавлении «неповиновения» крестьян села Деднова рязанским губернатором Новосильцевым. «Я слышал, — писал Добролюбов, — что вы были здесь в числе следователей, и слышанные мною замечки, сделанные вскользь вообще о следователях, давали понять, что следствие было ведено крайне плохо. Скажите, что это значит и какую роль играли при всем этом Вы?» Далее Добролюбов пояснял, что вопрос этот (он может показаться «неделикатным и нахальным») связан с тем, что источник, из которого он узнал о дедновском деле, имеет «большой авторитет и значение».

«Он, конечно, известен, хоть отчасти и Вам; если же нет, то попросите А. Пет. (Златовратского — Е. Б.) припомнить наши разговоры о том господине, который был некогда редактором «Владимирских губернских ведомостей» (IX, 331). Славутинский не понял намека Добролюбова, и Николай Александрович вынужден был в следующем письме отказаться от эзопова языка. «Вопрос вышел вовсе не из того источника, о котором Вы думаете, — говорилось в письме Добролюбова от 14 декабря того же, 1858 года. — Я никогда в жизни не видывал г. Тихомирова и от Вас первого узнал, что он был редактором «Владимирских ведомостей». В прошедшем письме моем я говорил вовсе не о нем, а о Герцене, которого не хотел назвать по глупой трусости перед рязанскими Шпекинами. Дедновская история рассказана в одном из номеров «Колокола», и там помянуто Ваше имя» (IX, 338).

Но в большинстве случаев адресаты хорошо понимали, что хотел сказать Добролюбов, прибегая к различного рода иносказательным выражениям. Так, под «нашим общим любимцем из Вятки» разумелся А. И. Герцен (IX, 324), «книгой, какую мы долго ждали... и еще вторым номером журнала, издаваемого тем же» — одно из его произведений и вторая книга «Полярной звезды» (IX, 248), «самобытным воздействием народной жизни» — крестьянская революция (IX, 408)... «Кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам и т. д.», можно бы, убежден Добролюбов, назвать и «короче», но он уверен, что адресат правильно поймет, что он в данном случае имеет в виду (IX, 359).

В письмах Добролюбова был сформулирован ряд принципов той эзоповой иносказательной речи, которая постоянно применялась в «Современнике». Некоторыми из них — излагать факты «без особенных разъяснений и без всяких возгласов», не называть вещи их именами, а иногда называть их «именами противоположными их существенному характеру» (IX, 410, 415) — он пользовался и в своей переписке.

«Милейший! — обращается Добролюбов к одному из своих друзей. — Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике». Замени только слово истина — равенство, лютой подлости — угнетателям; это опечатки...» (IX, 385). Ссылка на «опечатки» здесь должна хоть в какой-то степени замаскировать попытку дать представление о под-

линном, доцензурном тексте стихотворения. Поэтому, когда Добролюбов, сообщая Некрасову, что «у Михайлова был жандармский обыск» и, по слухам, он «взят», добавлял «...Да ведь взять-то не за что — вот беда!... Михайлова взять — ведь это курам на смех» (IX, 484), то это вовсе не значит, что он выражал свое подлинное отношение к его революционной деятельности. В данном случае добролюбовское «курам на смех» связано не только с возможностью перлюстрации письма, но и является попыткой подсказать Некрасову линию поведения на случай, если у него потребуют каких-либо объяснений в ходе следствия над одним из ведущих сотрудников «Современника»<sup>5</sup>.

Жизнь подтверждала обоснованность того недоверия, которое питал Добролюбов к государственной почте. Именно его письмо Некрасову от 9 сентября 1861 года, в котором речь шла о появлении в Петербурге прокламаций, обыске у Михайлова и его возможном аресте было перлюстрировано и известно нам по перлюстрационной копии. Некрасов же, в силу вполне понятных соображений, оригинал письма уничтожил. Можно предполагать, что адресатами были уничтожены и некоторые другие письма Добролюбова.

Особо следует остановиться на количественно и небольшой, но очень значительной группе писем Добролюбова — письмах-произведениях, т. е. произведениях, написанных для отправки в форме писем. Известно, что в декабре 1854 года он написал стихотворение на пятидесятилетие Н. И. Греча, отправил текст его самому Гречу и, по утверждению Шемановского, «во все редакции». Авторство Добролюбова вскоре стало известно директору Главного педагогического института И. И. Давыдову. Опасаясь за репутацию института, студенты которого пишут столь крамольные стихи, и, конечно, за свою судьбу, Давыдов даже не решился донести об этом Третьему отделению. В условиях развернувшейся борьбы добролюбовского кружка с ненавистным «Ванькой» (так студенты презрительно именовали директора института), Добролю-

---

<sup>5</sup> Об этом см.: Левин Ю. Д. Об отношениях Н. А. Добролюбова и М. Л. Михайлова // Изв. АН СССР. Отд. яз. и лит. 1961. Вып. 5. С. 422; Прийма Ф. Я. Н. А. Добролюбов и русское освободительное движение // Русская литература. 1963. № 4. С. 70—73.

бов счел возможным прибегнуть и к рассылке в редакции ряда изданий посвященных ему писем-памфлетов<sup>6</sup>.

Дело, впрочем, не ограничивалось «Ванькой». По свидетельству Шемановского, в 1855 году, вскоре после вступления на трон Александра II, Добролюбов изложил в стихах «от имени русского народа» его нужды и отправил эти стихи по почте министру императорского двора В. Ф. Адлербергу для передачи царю<sup>7</sup>. В воспоминаниях, написанных в 1862 году для Чернышевского, Шемановский с большей осторожностью передает этот факт бумаге... Текст письма до сих пор не известен<sup>8</sup>.

Иногда Добролюбов пользовался этим приемом и позднее, уже после окончания института. Так, в редакции «Современника» было принято ежегодно 6 июня в день именин Белинского собираться в память его на обед. В 1858 году на обед впервые был приглашен и Добролюбов. Такая форма поминовения Белинского вызвала раздражение Николая Александровича. «Этот обед и его участники произвели на Добролюбова такое впечатление, — пишет М. А. Антонович, — что он в негодовании прибежал домой, излил свое негодование в горячих стихах и немедленно разослал анонимно эти стихи наиболее выдающимся участникам обеда». Сам Антонович тогда еще в «Современнике» не сотрудничал, но позднее узнал об этой истории от Некрасова. «В числе других, — продолжает Антонович, — это стихотворение получил и Николай Алексеевич и, по его словам, сразу же догадался, кто автор его; да при том Добролюбов не скрывался перед ним...»<sup>9</sup>. Однако некоторые литераторы, из числа поминавших Белинского на этом «пьяном пире» лишь «пошлым тостом» (VIII, 65), узнав об авторстве Добролюбова, свидетельствует Антонович, обиделись на него.

Поскольку анонимные письма-произведения, как мы условно их называем, рассылались широкому кругу лиц, перед

<sup>6</sup> Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. 1961. С. 79—81.

<sup>7</sup> Там же. С. 74.

<sup>8</sup> С. А. Рейсер в сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XIX века (Л., 1959) идентифицировал этот документ со стихотворением «Внемли, о царь, надежда Руси новой...» (Указ. соч. С. 168—169 и 738), но вскоре от этой точки зрения отказался. (См.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. С. 431). В Собрание сочинений Н. А. Добролюбова (М.—Л., 1961—1964) текст «Внемли, о царь. ...» не введен.

<sup>9</sup> Антонович М. А. Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы//Слово. 1878. № 2. Отд. II. С. 82—83.



исследователями открывается возможность самых неожиданных находок. В начале 1950-х годов было обнаружено письмо к Н. И. Гречу по поводу его верноподданнической статьи в «Северной пчеле» о смерти Николая I. Греч получил это письмо по почте 4 марта 1855 года. Письмо было подписано «Анастасий Белинский» (т. е. «воскресший Белинский»). Третье отделение, куда Греч передал письмо, не смогло установить его автора, и оно почти сто лет пролежало в архиве этого учреждения (I, 99—107. См. также: Комментарий. С. 561; там же литература вопроса).

23 декабря 1856 года Я. И. Ростовцев, генерал-адъютант, начальник штаба по управлению военно-учебными заведениями, получил анонимное послание «Иакову Ростовцеву в день его юбилея». В 1959 году нами было высказано предположение, что автором его был Добролюбов<sup>10</sup>. Недавно А. Корнеев выдвинул в пользу этого предположения несколько дополнительных аргументов<sup>11</sup>. Можно предполагать, что в «Колокол» текст послания был отправлен вместе с корреспонденцией «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны» самим Добролюбовым. К Герцену эти материалы попали по какой-то причине со значительным опозданием — корреспонденция, написанная, по-видимому, в конце 1856 года, появилась в «Колоколе» в сентябре 1858 года (лист 23—24), а стихотворение, датируемое тем же временем, — вслед за корреспонденцией, в октябре (лист 26).

В 1964 году вышел в свет девятый том Собрания сочинений Добролюбова, включавший научно выверенные и прокомментированные тексты его писем. Это было большое событие в нашем литературоведении. В современных условиях встает вопрос о научном издании переписки Добролюбова. В это издание должны войти не только письма самого Добролюбова, но все дошедшие до нас письма к нему. Те письма к Добролюбову, которые были опубликованы в свое время Чернышевским, должны быть перепечатаны вместе с комментариями, которыми их тогда сопроводил Николай Гаврилович. Они никогда и нигде, к сожалению, не воспроизводились и почти недоступны читателям. Издание должно вклю-

---

<sup>10</sup> Бушканец Е. Г. О двух стихотворениях в «Колоколе» А. И. Герцена // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1959. № 1. С. 61—64.

<sup>11</sup> Корнеев А. Загадка одного послания // Литературная Россия. 1982. № 27. С. 19.

чать также сведения об утраченных письмах Добролюбова и список лиц, с которыми Добролюбов переписывался, хотя ни его письма к этим лицам, ни их письма к нему до нас не дошли. Только такое издание даст представление о масштабах и историческом значении писем великого русского революционера-демократа.

З. И. РУСТАМОВА

### **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ВОСПРИЯТИЯ НАСЛЕДИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕМОКРАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ**

Проблема «Н. Г. Чернышевский и азербайджанская литература» имеет два аспекта: это отношение Н. Г. Чернышевского к азербайджанской литературе, к Азербайджану вообще и восприятие наследия Н. Г. Чернышевского представителями азербайджанской литературы. Таким образом, прежде чем перейти к обзору работ азербайджанских исследователей, посвященных творчеству великого русского революционного демократа, необходимо вспомнить об отношении самого Н. Г. Чернышевского к Востоку, ориентальным проблемам, а главное, — к Азербайджану, его литературе, и показать, что пристальное внимание к ним носит отнюдь не случайный характер, а закономерно вытекает из серьезного изучения Востока.

Познания Н. Г. Чернышевского о Востоке были более обширны, нежели у его предшественников. И это понятно. Ведь интересоваться Востоком Чернышевский стал еще в детстве. В его архиве сохранились тетради, относящиеся к 40-м годам, с записями на татарском, арабском, персидском языках. По мнению азербайджанского ученого А. А. Сеидзаде, Н. Г. Чернышевский проявил интерес и к азербайджанскому языку, который в официальной переписке назывался «татарским». Автор «Что делать?» основательно проштудировал «Грамматику турецко-татарского языка» (1836 год) видного азербайджанского ученого востоковеда Мирзы Казем-бека<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Сеидзаде А. А. Н. Г. Чернышевский и азербайджанский язык // Известия АН Азерб. ССР. Сер. общ. наук. 1965. С. 142.

а в студенческие годы был с ним знаком и общался с ним. В 80-е годы, когда Н. Чернышевский после ссылки поселился в Астрахани, ему могла бы, как считает А. Каримуллин, принадлежать инициатива создания газеты на татарском языке для распространения среди населения революционных идей<sup>2</sup>.

Глубокий и серьезный интерес к Востоку в какой-то степени повлиял на направленность работы Чернышевского в журнале «Современник». Анализ материалов 1854—1856 годов свидетельствует о том, что в журнале систематически печатались критические статьи, библиографические заметки, имеющие отношение к Востоку, в том числе к народам Кавказа, Средней Азии. Сам Н. Г. Чернышевский, как видно из его работ, помещенных в журнале, особое внимание обращал на произведения с восточной тематикой, систематически следил за ориентальной литературой.

Вслед за В. Г. Белинским Н. Г. Чернышевский считал важнейшим стимулом развития национальной культуры обмен духовными ценностями между народами и призывал взять «как свое» все прогрессивное, что накоплено другими народами. Критический ум революционера-демократа не мог принять суждения пылких романтиков о Востоке: он подвергал критике тех, кто пытался противопоставить одни народы другим по религиозным и расовым признакам, и подчеркивал, что национальная рознь поддерживается эксплуататорами ради сохранения своего господства. Один из важнейших политических вопросов — национальный, Н. Г. Чернышевский всегда решал с позиций революционера-демократа, интернационалиста; его интернационализм зиждется на гуманизме. И хотя он не обрел форму пролетарского интернационализма, тем не менее объединил представителей революционно-демократического движения, указал дальнейшее направление борьбы.

Как интернационалист, Н. Г. Чернышевский проявлял исключительный интерес к жизни, культуре многочисленных народов и народностей России, в частности, к народам Закавказья, Азербайджану. Стало быть, можно говорить об истории возникновения и развития отношений Н. Г. Чернышевского к Азербайджану, культуре и литературе этой древней земли. Об азербайджанской литературе Чернышевский был

---

<sup>2</sup> Каримуллин А. Г. Татарская книга пореформенной России. Казань, 1983. С. 192.

осведомлен, он знал, например, стихотворение Мирза Шафи Вазеха «Распахни покрывало...» в переводе М. Л. Михайлова, напечатанное в апрельской книжке «Современника» за 1854 год. Можно предположить также, что Н. Г. Чернышевский, владевший немецким языком, был знаком и с книгами Ф. Боденштедта «Тысяча и одна ночь на Востоке» (1850 г.) и «Песни Мирза Шафи» (1851 г.), а также с книгой известного немецкого путешественника Августа фон Гакстгаузена «Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни народов, обитающих между Черным и Каспийским морями»<sup>3</sup>, имеющей непосредственное отношение к Азербайджану. Гакстгаузен путешествовал по Украине, Поволжью, Закавказью, побывал в Баку, посетил Храм огнепоклонников, писал о Бакиханове. Автор привел в своем труде множество легенд, сказаний, в том числе «Предание о слепом обеиде и сыне его Кер-оглу», «Легенду о Змеиной горе у Аракса», дастан «Асли и Керем», «Предание о Ленг-Тамере» (Тамертане) и др. Характерным для Н. Г. Чернышевского является и его призыв обратить внимание на прекрасную газету «Кавказ», которая обещает сообщать «все драгоценные местные сведения о прошлой и нынешней жизни той любопытной страны, которой имя она носит...»<sup>4</sup>.

Одним из активных сотрудников газеты был и М. Ф. Ахундов. В 50-х годах на страницах этой газеты публиковались его комедии.

Известен отклик Н. Г. Чернышевского на издание литературного альманаха «Зурна» (Тифлис, 1855). В рецензии, опубликованной в «Современнике» (1855. № 7), Чернышевский с большой теплотой отзывается о помещенных здесь произведениях «собственно тифлиских поэтов», в числе которых он называет и Мирзу Фет-Али Ахундова, выступившего с прозаическим переводом стихотворения классика азербайджанской литературы XVIII столетия М. П. Вагифа «Идеал красавицы по восточным понятиям». Рецензируя «Записки Кавказского отдела императорского Русского географического общества» Е. А. Вердеревского (Тифлис, 1855), Чернышевский узнает много интересного о быте, языке жителей южной части Ленкоранского уезда Азербайджана, тальшинцах<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 16-ти т. М.: Гослитиздат, 1939—1959. Т. XVI. С. 243.

<sup>4</sup> Там же. С. 83.

<sup>5</sup> Там же. Т. III. С. 488.

Но «для нас, — пишет Ф. Кочарли, — важно не только то, что представители демократической русской культуры следили за историческим развитием Азербайджана, но и то, что они оказали благотворное влияние на духовную жизнь азербайджанского народа»<sup>6</sup>. Так, художественные и публицистические произведения Н. Г. Чернышевского оказали многогранное влияние на передовую мысль Азербайджана. Именно это обстоятельство требует комплексного подхода к изучению влияния Н. Г. Чернышевского на азербайджанскую литературу. При этом нельзя ограничиваться только лишь выявлением культурно-исторических условий, делающих возможным благотворное влияние демократа, но необходимо показать и становление того нового, что рождалось на почве этого влияния. Отмечая полную готовность азербайджанской культуры и ее прогрессивных представителей к восприятию позитивного влияния, которое могло бы дать ощутимый толчок к дальнейшему движению вперед, следует помнить, что к XIX веку азербайджанская культура и литература уже имели богатейшее культурное наследие, располагали ценнейшими творческими достижениями.

В истории литературы нередко наблюдаются факты взаимовлияния тех или иных представителей культуры при отсутствии личных контактов. Таково и влияние творчества и личности Н. Г. Чернышевского на передовых представителей азербайджанской культуры, особенно второй половины XIX века.

Вторая половина XIX века — знаменательный период для всей культуры Азербайджана. Именно в это время происходит духовное возрождение, нашедшее наиболее адекватное выражение в творчестве М. Ф. Ахундова, формируется реалистическое направление в литературе, выражавшее демократические и интернационалистические идеи. М. Ф. Ахундов, как и Н. Г. Чернышевский в России, был идейным руководителем демократического направления азербайджанской общественной мысли. Его литературно-критическая деятельность развивалась под благотворным влиянием В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, других революционных просветителей-демократов, в борьбе против религиозно-мистической, схоластической литературы и поэзии, господствовавшей долгое время в странах мусульманского Востока<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов СССР. М., 1984. С. 264.

<sup>7</sup> Там же. С. 269.

Интерес М. Ф. Ахундова к Н. Г. Чернышевскому был огромен. В архиве Ахундова имеются книги В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, Н. А. Добролюбова, несколько отрывков из романа «Что делать?», переписанные рукой самого М. Ф. Ахундова, «Политэкономия» Дж. С. Милля и работы Т. Б. Маколея в переводе Н. Г. Чернышевского. Последние две работы интересны тем, что содержат в себе обширные замечания, дополнения самого Чернышевского. Именно эти замечания и привлекли внимание М. Ф. Ахундова. Переводы Н. Г. Чернышевского нельзя назвать только переводами, это в какой-то мере произведения и самого Чернышевского. Он критикует Милля и с этой целью переводит его<sup>8</sup>.

Рукопись на двух листах под названием «О любви» представляет собой написанные рукой Ахундова без всяких ссылок на источник высказывания о любви и дружбе, взятые из романа «Что делать?» Ш. Мамедов высказывает предположение о том, что М. Ахундов знал и оригинальные произведения великого русского мыслителя<sup>9</sup>. Таким образом, если говорить о непосредственном влиянии (личные контакты с М. Казембеком) и опосредованном, то здесь налицо второе: воздействие через переводы и произведения революционера-демократа на становление мировоззрения М. Ф. Ахундова.

Для многих писателей и просветителей Азербайджана Н. Г. Чернышевский являлся образцом служения родине. Мировоззрение «шестидесятника-татарина» Гасан бека Зардаби складывалось под непосредственным влиянием передовой русской общественно-философской мысли. Русские просветители, революционеры-демократы и социалисты-утописты были идейными маяками для азербайджанских просветителей-демократов Дж. Мамедкулизаде, Н. Нариманова и др. Известный революционер, один из 26-ти бакинских комиссаров, М. Азизбеков испытал на себе благотворное влияние произведений Н. Чернышевского, особенно его романа «Что делать?»<sup>10</sup>.

Влияние Н. Г. Чернышевского на литературу, культуру народов нашей страны — факт ныне широко и глубоко исследуемый в советском литературоведении и истории лите-

---

<sup>8</sup> Сеидзаде А. А. Н. Г. Чернышевский и М. Ф. Ахундов. Баку, 1968. (На азерб. яз.).

<sup>9</sup> Мамедов Ш. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978. С. 34.

<sup>10</sup> Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов СССР. С. 270.

ратуры. Недавно вышедший сборник «Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов СССР»<sup>11</sup> свел воедино огромный материал по изучению и анализу основных направлений и форм влияния общественно-политических, философских, исторических, этических идей Н. Г. Чернышевского на общественную мысль народов России второй половины XIX — начала XX веков. Однако еще в 1948 году В. Щербина в статье «Писатель-революционер»<sup>12</sup> обобщил материал по вопросам воздействия мировоззрения и произведений революционера-демократа на формирование взглядов Т. Шевченко, И. Франко, Церетели, Хетагурова, Абая и др. и пытался определить причины, побудившие передовых представителей разных народов обратиться к работам Н. Г. Чернышевского, многие из которых сейчас уже переведены на языки народов нашей страны.

В 1952 году на азербайджанский язык был переведен знаменитый роман «Что делать?». Рассказывая о своей работе над переводом, М. Ибрагимов пишет, что познакомился с романом еще в юности, заоем прочел знаменитые сны Веры Павловны. Его поразили искренние и глубокие человеческие отношения между героями. Особое впечатление произвел образ Рахметова, и сила романа, как он считает, в этом образе. Тогда-то он и решил непременно донести роман до азербайджанского читателя<sup>13</sup>. В 1956 году диссертацию Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» переводит на азербайджанский язык Дж. Джафаров.

Серьезная творческая работа по изучению и популяризации творческого наследия революционера-демократа была проделана азербайджанскими литературоведами за годы советской власти. Комплексный подход к изучению творчества Н. Г. Чернышевского позволит определить не только место его в истории русско-азербайджанских литературных связей, но и отношение к его наследию современников.

Так, в 1939 году на страницах азербайджанской прессы появились статьи, посвященные великому русскому револю-

---

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Литературная газета, 1948. № 21. 24 июля. (На азерб. яз.).

<sup>13</sup> Ибрагимов М. Ценный роман//Коммунист, 1953. 24 июля. (На азерб. яз.).

ционеру-демократу. «Литературная газета»<sup>14</sup> отводит много места для работ азербайджанских литературоведов об эстетических взглядах Чернышевского, о его жизненном пути и художественном творчестве; здесь же напечатан отрывок из романа «Что делать?» в переводе А. Садыка. В своей статье «Эстетические взгляды Чернышевского» Д. Джафаров определяет место знаменитой диссертации революционера-демократа в развитии взглядов на роль искусства в жизни народа. Чернышевский, начиная с платоновского «искусство — зеркало жизни», критиковал все теории пассивного отражения и верил, что искусство играет активную роль в народной жизни.

В 50-е годы наряду со статьями информативного характера, появляются работы азербайджанских исследователей А. Мирахмедова, М. Ибрагимова, А. Агаева, Ш. Мирзоевой, Ф. Кочарли, М. Багирова, Г. Эфендиева и др., в которых ученые анализируют вопросы влияния эстетики революционера-демократа на эстетическую мысль Азербайджана, особенности сатиры Чернышевского-писателя и влияние романа «Что делать?» на революционное поколение республики, рассматривается также отношение революционного демократа к национальному вопросу.

Азербайджанские ученые М. Рафили, М. Ариф, Дж. Джафаров, М. Джафар и многие другие останавливаются на таких серьезных моментах его творческой биографии, как неизменный интерес Н. Г. Чернышевского к Востоку и его литературе; заинтересованность его в развитии национальных литератур, азербайджанской литературы и культуры. Академик М. Джафар посвящает вождю революционно-демократического движения главу своей монографии «Русская литература XIX века»<sup>15</sup>, где подробно останавливается на биографии писателя, дает идейно-художественный анализ романа «Что делать?», подчеркивая, что ни одно произведение в истории русской литературы не оказывало такого благотворного влияния на революционные умы, как этот роман. Азербайджанских исследователей волнуют проблемы воздействия его творчества и личности на лучших представителей азербай-

---

<sup>14</sup> Литературная газета. 1939. № 33. 12 окт.; № 34. 22 окт. (На азерб. яз.).

<sup>15</sup> Джафар М. Русская литература XIX века. В 3-х ч. Баку, 1974. Ч. 2. С. 127—170. (На азерб. яз.).



джанской культуры. Ученые опираются на положение о том, что литература каждого народа развивается в непрерывной связи с его жизнью, на конкретно-исторической почве, на базе национальных традиций, но развитие это происходит не изолированно от литературы других народов. В. Г. Белинский, чью линию неустанно и последовательно продолжал Н. Г. Чернышевский, развил мысль о том, что «...народ, начинающий принимать участие в жизни образованной части человечества, не может быть чуждым никакого общего умственного движения»<sup>16</sup>. А Карл Маркс писал в свое время, что всякая нация может и должна учиться у другой<sup>17</sup>.

А. А. ДЕМЧЕНКО

### К БИОГРАФИИ Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Жизнь Н. Г. Чернышевского в ранние годы протекала под сильным нравственным влиянием его отца. Отголоском этого воздействия явилась, например, дарственная надпись на одной из книг 1857 г.: «Милому папеньке от бесконечно обязанного, всем обязанного сына». Уже одно это признание обязывает к внимательному изучению личности человека, о котором сын-писатель не упоминал иначе как с благоговением. Ввиду малочисленности дошедших до нашего времени сведений о нем важен и ценен каждый факт его биографии.

#### 1

Вскоре после женитьбы на Евгении Егоровне Голубевой состоялось в Пензе рукоположение Г. И. Чернышевского «во иереи у Сергия», и он сделался священником саратовской Сергиевской церкви<sup>1</sup>. Уехав в Пензу для оформления своего назначения, Г. И. Чернышевский переписывался с П. И. Голубевой, матерью своей четырнадцатилетней жены. Сохранились два письма, ярко характеризующие самого его и его от-

<sup>16</sup> Цит. по кн.: Талыбзаде К. Горький в Азербайджане. Баку, 1970. С. 5.

<sup>17</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 10.

<sup>1</sup> Ляцкий Е. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет//Современный мир. 1908. № 5. С. 49.

ношение к юной жене и ее матери. «Сердечному другу моей милой Евгении Егорьевой, — писал он 17 июня 1818 г., — посылаю короб поцелуев; пусть возьмет оттоле, сколько ей угодно, а лучше бы для меня было, ежели все. Любезнейшей сестрице Александре Егорьевой мое сердечное желание быть здоровою. Наконец, от чистого сердца пожелав вам, маминька, и всем доброго здоровья и радования сердечного, есть вам послушнейший сын Гавриил Чернышевский». В следующем письме от 22 июня не без юмора описывалась встреча с епископом: «Во время благовесту, к вечерни, прихожу в архиерейский дом, куда плыла за мною и рыба, присланная в подарок от Петра Архиповича и Марфы Ивановны, — докладывают ему обо мне, — выходит — видит две рыбы и говорит: на что это. Я говорю, Петр Архипович и Марфа Ивановна Зотовы прислали в гостинец вашему преосвященству. — Благодарю покорно, — потом подаю ему в руки наш подарок и в ответ получил: напрасно беспокоитесь, однако ж взял, сказав *спасибо*; посем спросил меня, произвел ли я дело в консистории. Я говорю: я вчера только приехал: совершить оное было некогда, посем прошу его посвятить меня поскорее, упомянув, что в той церкви, к которой я произвожен, 5 июля праздник храмовый, на сие получил ответ: я на этой недели служить не буду, потому что на следующей много праздников, мне часто служить трудно... Я от архиерея — во вторник, произвел в консистории дело, в среду внес к архиерею, теперь завтрашнего дня дожидать»<sup>2</sup>.

## 2

Среди многочисленных обязанностей священника Г. И. Чернышевского важной для него оставалась педагогическая деятельность. В частности, он преподавал в одном из саратовских пансионов. Этот факт известен, но текст выданного ему «Аттестата» о службе в пансионе не публиковался. Между тем, документ этот весьма любопытен и значителен для характеристики отца писателя.

В «Аттестате» от 21 октября 1821 г. сказано: «Я, нижеподписавшаяся иностранка Троппе, содержательница публичного в городе Саратове благородных девиц пансиона, свидетельствую сим, что обучавший в оном моем пансионе с 6 ок-

---

<sup>2</sup> ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. № 29. Л. 1—4.

тября 1818-го по 11-е число октября 1821-го годов с дозволения начальства закону божию, священной истории, чистописанию, российской грамматике и арифметике — Саратовской Сергиевской церкви священник Гавриил Иванович г-н Чернышевский имел в преподавании оных предметов успех *похвальный*; в чем отдавая ему должную справедливость поставляю в обязанность себе по случаю отбытия моего из г. Саратова в столичный город Москву, письменно о том засвидетельствовать, что я как прилежанием его, так и его поведением всегда оставалась и остаюсь очень довольна»<sup>3</sup>.

### 3

Будучи городским благочинным, Г. И. Чернышевский обязан был вместе со своим родственником кафедральным протоиереем Ф. С. Вязовским участвовать во многих экспедициях епископа Иакова по борьбе с расколом. Однако суровость административных мер зачастую не вызывала в душе обоих протоиереев полного согласия. «Они оба,— писал Н. Г. Чернышевский, были люди искренно верующие, конечно; но люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осел-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересях возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Федор Степанович и мой отец; но, что могли, делали» (XV, 250). Авторитетное свидетельство сына многое объясняет в характере этой стороны деятельности Г. И. Чернышевского.

В этой связи интересен документ, известный по копии И. А. Алексеева: «Дело по предложению обер-прокурора святейшего синода с объявлением высочайшего поведения о преподавании Саратовскому преосвященному надлежащего наставления. 12 апреля — 24 мая 1837». Из «Дела» следует, что Г. И. Чернышевский представил епископу и синоду специальную записку с предложением ряда мер, противодействующих распространению раскола. Предлагалось сектантам «выдавать именной список за подписанием полицмейстера для вне-

---

<sup>3</sup> Там же. № 48. Л. 2.

сения в оный вновь родившихся и умерших», запретить своевольный переход из одной секты в другую, завести шнуровую книгу прихода и расхода денег, упразднить некоторые молитвенные дома. Император счел суждения саратовского протоиерея «неудобными, ибо оные согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священники при церквях, между тем как раскольнические действия не признаются законными», и повелел «сделать преосвященному Саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». 3 мая 1837 г. синод вынес следующее постановление: «Составленные протоиереем Чернышевским и принятые им, преосвященным, за полезные к уничтожению раскола предположения заключают в себе такие правила, по коим действия раскольников в отношении духовных обязанностей должны быть облечены как бы в законную форму, представляются вовсе не уместными и не только сомнительными в достижении желаемой цели — уменьшения и самого уничтожения раскола, но даже опасными и служащими некоторым поводом к введению в раскольническом обществе нового порядка и устройства»<sup>4</sup>. Разумеется, Г. И. Чернышевский вынужден был отказаться от каких-либо нововведений по раскольническим делам.

**Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ**

### **О РАБОТЕ НАД ПОЛНЫМ СОБРАНИЕМ СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1939—1953 гг.)**

В 1935 году мною была получена телеграмма от Павла Ивановича Лебедева-Полянского. Он вызывал меня в Москву в связи с предстоящим изданием Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского. Еще при жизни В. И. Ленина поднимался этот вопрос, когда Павел Иванович был правительственным комиссаром по издательским делам. «Чернышевского обязательно издайте и Добролюбова, — говорил ему В. И. Ленин, — замечательнейшие люди. Все мы через них прошли...»<sup>1</sup>

---

<sup>4</sup> ЦГАЛИ. Ф. 1. Оп. 2. № 53. Л. 2—3.

<sup>1</sup> Яковлев Б. Критик-боец (О П. И. Лебедеве-Полянском). М., 1958. С. 15.

По приезде в Москву я посетила Лебедева-Полянского и имела большой разговор с ним в Гослитиздате, директором которого он тогда состоял. Он рассказывал мне о прошлых беседах с моим отцом, от которого стало известно о сохранившемся архиве Чернышевского. Еще тогда шла речь о новом издании. Теперь эта мечта претворялась в действие.

— Четыре издательства спорили между собой за право издавать Чернышевского, — сказал мне Лебедев-Полянский, — и Гослитиздат оказался победителем.

Тут же в Гослитиздате, а вечером того же дня на квартире у Павла Ивановича обсуждались организационные вопросы. Первоначально в редколлегию был введен Ю. М. Стеклов, ему была поручена общая вступительная статья о Чернышевском. Затем вместо Стеклова пригласили старого большевика Николая Леонидовича Мещерякова, и он написал статью «Ленин о Чернышевском», которая и вошла в первый том.

Главным редактором был назначен Б. П. Козьмин, от экономистов пригласили Ивана Дмитриевича Удальцова, от филологов — В. Я. Кирпотина. Как исследователь архива Чернышевского в Москве и знаток его шифра был привлечен Н. А. Алексеев. От редакции русских классиков дело было поручено заведующему этим отделом Вл. Вас. Григоренко. Редакторами от издательства были С. С. Борщевский, потом Костицын. Впоследствии я имела дело с заведующим редакцией литературоведения Бонецким Константином Иосифовичем и с директором — Анатолием Константиновичем Котывым.

Мне было поручено составление текстологических и библиографических комментариев, и я выполняла их по инструкции, составленной Б. П. Козьминым. Кроме того, принимала участие в комплектовании томов, поскольку архив Чернышевского находился в Саратове, и в процессе его разборки и изучения удалось выявить до 100 печатных листов неопубликованного материала.

«Верховное командование» осуществлял П. И. Лебедев-Полянский. Он был душой всего дела, человеком поразительного такта, умевшим гасить разгоревшиеся страсти с помощью умного и тонкого юмора. Два таких заседания особенно остались в памяти. Одно из них было посвящено публикации Дневника в первом томе, другое — диссертации Чернышевского во втором томе. В первом случае были нападки на Б. П. Козьмина и Н. А. Алексеева, во втором — скрести-

лись шпаги у меня с С. С. Борщевским из-за отрывков диссертации, которые один из нас относил к основному тексту, другой — к примечаниям. Долго бился с нами Павел Иванович, наконец воскликнул: «Ну, конечно, решено: кошки и красавицы пойдут в примечания!»

Издание полного собрания сочинений предполагалось выпустить к 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского в 1939 году. Однако дело это сильно затянулось, и только в 1953 году вышел последний 16-й том. Он был дополнением к 15 томам, первоначально намеченным. В 1939 году вышло два тома: первый с дневниками, автобиографией и воспоминаниями и одиннадцатый — с двумя редакциями романа «Что делать?» В первом томе дневник был опубликован по тексту Н. А. Алексеева в издании Политкаторжан, а автобиография — по копии, собственноручно снятой М. Н. Чернышевским с 1 тома «Литературного наследия».

Роман «Что делать?» был подготовлен для 11-го тома А. П. Скафтымовым, присоединившим к комментариям целое научное исследование, очень обогатившее книгу. Отголоском огромной работы, проделанной А. П. Скафтымовым, была его статья о Чернышевском в юбилейном сборнике 1939 года («Н. Г. Чернышевский»), выпущенном саратовским издательством, и соответствующие части монографии, выдержавшей два издания. Текст романа «Что делать?» для 11-го тома готовил Н. А. Алексеев.

Перед войной совсем уже был подготовлен второй том. Но эвакуация издательства спутала все карты. Набор был рассыпан, и С. С. Борщевскому пришлось заново готовить книгу по моим рукописям.

Только в 1947 году редколлегия смогла вернуться к своим обязанностям. За это время Гослитиздат потерял своих сотрудников, павших в бою с фашистами: Владимира Ивановича Денисова и Николая Михайловича Ченцова. Оба были связаны с нашим изданием. Скоро ушел из жизни и Павел Иванович Лебедев-Полянский, и мы продолжали издание уже без него, при П. И. Чагине и А. К. Котове.

Переписка, сохраняющаяся в моем архиве, довольно ясно рассказывает о ходе подготовки последующих томов. Большую роль стал играть С. С. Борщевский как сильный библиограф и необычно энергичный работник. Вскоре он принял большое участие и в «Летописи жизни» как ее редактор (она была сдана издательству в 1947 году, а работа С. С. Борщев-

ского началась позднее). В 1947 году вышел третий том, подготовленный, как и многие другие, еще до войны.

Нет возможности рассказывать о каждом томе в отдельности. Что касается редакционной работы, тут были и осложнения. Временно отошел от издания Борис Павлович Козьмин, не поладивший с Гослитиздатом по неизвестным мне причинам, в результате чего получилась произвольная и смехотворная публикация воззвания «Барским крестьянам», подготовленная Костицыным. По моей просьбе в редколлегия ввели В. Е. Евграфова, который стал редактором последнего (16-го тома), и по нашему с ним настоянию пригласили опять Б. П. Козьмина. Над последним томом работали особенно жарко и дружно. Мы с Н. А. Алексеевым часто бывали у Евграфовых. Одновременно печаталась «Летопись», и В. Е. Евграфов по моей просьбе просмотрел ее и дал ряд ценных советов.

После выхода в свет нашего издания мне неоднократно приходилось докладывать о работе над ним на научных заседаниях и в музее, и в университете. Как во всяком многотомном издании, в нем есть отдельные просчеты и недостатки. Но самое главное, что лежит у меня на душе пудовой тяжестью — это сокращения, которые приходилось делать в текстологических примечаниях по требованию типографии Гослитиздата. Она отказывалась брошюровать тома, если они по объему превышали возможную для брошюровки норму. А ведь нужно сказать, что каждый том Чернышевского представлял собой «кирпич». И я, по просьбе Бонецкого, должна была садиться в их большой рабочей комнате на несколько часов, чтобы разобраться и выявить эти сокращения и чтобы вычеркивать, вычеркивать и вычеркивать. Я чувствовала себя как на горящих углях, но что можно было сделать? Только дожидаться, когда к этой урезанной в аппарате статье подойдет через несколько лет другой исследователь, отыщет и опять восстановит зачеркнутое. Раз Бонецкий сказал мне: «7-й том нужно сократить на один печатный лист».

Ведь это только нужно представить себе: печатный лист работы Чернышевского над стилем, над эзоповским языком! Впоследствии я все-таки указывала научным работникам изъятые места.

Таким образом, архив Чернышевского еще представляет интерес для исследования лаборатории творчества.

Для нового (3-го издания) «Летописи жизни» я подгото-

вила исправления и дополнения, поступившие в печать после выхода в свет полного собрания сочинений.

Вскоре после выхода последнего тома возникли нападки на издание со стороны В. Н. Шульгина, возомнившего себя новооткрывателем и жаждавшего внести свой вклад в дело изучения Чернышевского. Еще в Саратове, куда он эвакуировался, он писал диссертацию, в которой проводил следующие положения:

1) Чернышевский хотел бежать из Сибири, и в этом ему помогала Ольга Сократовна. Чернышевский знал, что за ним придет Мышкин.

2) Пыпин А. Н. был злейший враг Чернышевского.

3) Чернышевский жил в то время, когда марксизм и чернышевизм сливались в одно неразрывное целое.

4) Пантелеев был агентом III отделения.

Эти мысли Шульгин высказал и на Ученом совете музея. При осмотре экспозиции он требовал выбросить из нее все пыпинское. Относительно чернышевизма и марксизма обоснованно поправил Шульгина А. П. Скафтымов. За Пыпиных горячо вступился В. Е. Евгеньев-Максимов. Из затеи реконструировать экспозицию у Шульгина ничего не вышло.

Время показало, как неправ был Шульгин. Не говорю уж о том романе, который он сочинил об Ольге Сократовне как подпольщице, прислушивавшейся к указаниям мужа из Петропавловской крепости и выполнявшей их, а потом поехавшей освобождать его из Сибири.

О Шульгине у меня уже много написано. Как-нибудь допущу. Мне хочется вспомнить заседание в Отделении литературы и языка Академии наук, на котором Шульгин и Головенченко выступили, подав предварительно специальную записку о необходимости выпустить в свет пересмотренные беллетристические и литературоведческие тома полного собрания сочинений Чернышевского, указав на недостатки последнего, в том числе на неудовлетворительность комментариев А. П. Скафтымова. Присутствовали Б. П. Козьмин, Кирпотин, Нечаева и много других лиц. Председательствовал академик В. В. Виноградов. После других, ничего определенного не сказавших, я попросила слова.

— Если два лица подали записку об издании этих томов, если они указывают на неудовлетворительность выпущенных Гослитиздатом, то совершенно ясно, что эти два лица желают редактировать и комментировать эти новые пять томов. Я всегда буду приветствовать новые издания Чернышевского.



Но поручить редактирование их такому лицу, как В. Н. Шульгин, которого знаю по Саратову, считаю невозможным. Мало того: я специально приехала за тысячу километров для того, чтобы заявить протест. Что касается Ф. М. Головенченко, то у меня записана его лекция в Политехническом музее, из которой ясно, что он плохо знает Чернышевского, и я говорила об этом в музее, чтобы сотрудники знали, как не надо читать и цитировать Чернышевского. Как же можно таким лицам поручать подготовку Собрания сочинений Чернышевского?

В. Н. Шульгин пытался вступить в личную полемику, но В. В. Виноградов не допустил этого и закрыл заседание.

Борис Павлович подсел ко мне на прощанье и сказал: «Вы молодец».

В общем вопрос официально был решен так: Академия наук перегружена изданием наследия Салтыкова-Щедрина, и для издания Чернышевского пока возможности нет.

Из научных работников Ленинграда очень выдвинулся за период подготовки полного собрания сочинений бывший литературный секретарь проф. Н. К. Пиксанова Владимир Эммануилович Боград. Мы с ним одновременно стали изучать «Отечественные записки» 1854 года в поисках неизвестных работ молодого Чернышевского, и я о своих результатах сделала доклад на Ученом совете музея. И вдруг на другой день приходит внушительный пакет с теми же статьями Чернышевского, подготовленными к печати В. Э. Боградом, уже перепечатанными на машинке, с готовым аппаратом. А вместе с пакетом — рекомендательное письмо от Н. К. Пиксанова с просьбой поддержать Бограда и помочь напечатать его труд. Поскольку у Бограда все было в таком состоянии, что хоть сейчас печатай и поскольку я только что весь этот материал сама проверила и изучила по первоисточнику, мне было легко поддержать его, как просил Пиксанов — мой учитель, и я, вскоре поехав в Москву для переговоров о комплектовании 16-го тома, доложила директору Котову обо всем этом, и мы включили Бограда и в 16-й том, и в «Летопись».

С тех пор началась наша литературная дружба: Боград встречал и провожал меня в Ленинграде, устраивал в общезнании Ученых на ул. Халтурина, помогал музею, когда мы устраивали новую экспозицию к 125-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, розысками ленинградского фотографа и заказом ему многих фотоснимков.

В 1941 году произошло большое событие в жизни музея. Был издан закон о централизации архивов писателей-классиков, и музей Чернышевского передал в Москву весь архив Н. Г. Чернышевского. К этому времени по рукописям уже были подготовлены почти все тома полного собрания сочинений. Над 9-м томом трудился Сергей Васильевич Басист, 12 и 13 были переданы А. П. Скафтымову, помощником которого был А. П. Медведев. Одновременно А. П. Медведев работал над диссертацией.

Часть рукописей Чернышевского по просьбе Гослитиздата уже была отправлена перед войной для работы редакторов в Ленинскую библиотеку. Я сама отвозила туда неподъемный чемодан, и меня встречал Анатолий Константинович Котов, впоследствии директор Гослитиздата, а пока скромный заведующий корректорской.

Над рукописями работал также С. С. Борщевский, проверял их как редактор, прикрепленный к издательству. Поэтому их и запросили в Москву. К счастью, мою работу он оценивал положительно.

Таким образом, архив Чернышевского переехал в Москву. В 1941 году, когда выносили из музея несгораемый шкаф и ящики с рукописями, в Саратове находился личный секретарь Николая Гавриловича — Константин Михайлович Федоров. Мы с ним провожали грузчиков, увозивших это все. Когда двери закрылись, Константин Михайлович сказал: «У меня сейчас такое чувство, какое было, когда выносили из дома гроб Николая Гавриловича». И заплакал как ребенок. О моих переживаниях говорить нечего.

Сначала рукописи Чернышевского лежали в саратовском Доме Ученых, потом их перевезли, но сначала не в Москву, где было опасно в связи с фашистскими налетами, а в Уфу; а потом уж они благополучно водворились на Пироговскую, 17. Затем было выстроено здание ЦГАЛИ, и архив Чернышевского занял там первое по описи место. Там я много работала над семейным архивом. Прошли годы, и новое здание приняло в свои стены очень хорошо обработанный архив Чернышевского и Пыпиных. Ездили мы туда с Н. А. Алексеевым, оказывавшим постоянную помощь музею в деле приобретения фотостатических копий и микрофильмов. Там уже начали собирать и мой фонд.

В Гослитиздате меня познакомили с дочерью В. Г. Короленко Софьей Владимировной, приезжавшей из Полтавы. Это была очень симпатичная скромно одетая женщина с мило-

видным лицом и гладкой прической. Там мы только несколько слов сказали друг другу, а потом переписывались. В 1889 году, когда произошла встреча ее отца с Николаем Гавриловичем, ей было всего два года. Софья Владимировна прислала текст записки Чернышевского к Короленко и снимок Вилюйской тюрьмы маленького размера, сделанный политическим ссыльным, а мы ей послали фото с рисунка художника Казмирова «Короленко у Чернышевского». Рисунок так понравился, что она просила помочь, чтобы Казмиров повторил для полтавского музея Короленко этот рисунок.

Заканчивая воспоминания о контактах с Гослитиздатом, не могу не чувствовать признательности к его работникам, начиная от директоров и кончая секретарями за неизменно доброжелательное отношение к моему сотрудничеству, закончившемуся тем, что Гослитиздат счел возможным выставить мою книгу «Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского» на Государственную премию в 1954 году.

При директоре Гослитиздата П. И. Чагине в 1939 году был организован юбилейный комитет в память 50-летия со дня смерти Н. Г. Чернышевского. Организационное заседание прошло в Гослитиздате, куда я была вызвана и где выступала. Произошло знакомство с Ф. Gladковым и А. Серафимовичем. Встретилась с Н. Ф. Бельчиковым. Очень оживленно прошло это совещание. Было решено, что от писателей в Саратов на юбилейные торжества поедет К. А. Федин...

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абай Кунанбаев 182  
 Авенариус В. П. 151—152  
 Агаев А. 183  
 Азизбеков М. 181  
 Адлерберг В. Ф. 175  
 Александр II 175  
 Александр III 58  
 Алексеев Н. А. 186, 188—190, 193  
 Анненков П. В. 111—114  
 Антонова Г. Н. 92, 114  
 Антонович М. А. 48, 93, 96, 107—110, 175  
 Алухтин А. Н. 162—163  
 Аристотель 100  
 Ариф М. 183  
 Аркрайт Р. 163  
 Арнольди Н. 159—160  
 Асмус В. Ф. 108  
 Астахов В. Г. 108  
 Ахундов М. Ф. 179—181  
  
 Багирова М. 183.  
 Басист С. В. 193  
 Бауэр Б. 101  
 Бахметев П. А. 153  
 Бахмутский В. 103  
 Бахтин М. М. 140  
 Белинский В. Г. 5, 7, 8, 12, 13, 16—23, 29, 73, 94, 98, 100, 103, 153—155, 157, 171, 175, 176, 178, 180, 184  
 Белов Е. А. 155  
 Белова Н. М. 24  
 Бельчиков Н. Ф. 5, 194  
 Бентам И. 27  
 Беранже П. 78, 91  
 Бестужев-Рюмин К. 118, 130  
 Бичер-Стоу Г. 78, 91  
 Биша М. 97  
 Благообразов М. И. 166, 172  
 Благообразова Ф. В. 166, 169  
 Богачева М. 6  
 Боград В. Э. 164, 192  
 Боденштедт Ф. 179  
 Боккаччо Д. 78, 91  
 Бокль Г. 110  
 Бонецкий К. И. 188, 190  
 Бордюгов И. И. 168, 170  
  
 Боров Ю. Б. 6  
 Борщевский С. С. 188, 189, 193  
 Боткин В. П. 108  
 Брандис Е. 43, 48  
 Буданова Н. Ф. 109  
 Буренин В. П. 170  
 Буханан Д. 162  
 Бушканец Е. Г. 164, 176  
 Быховский Б. 30  
 Бэкон Ф. 99—100  
 Бюхнер Ф. 97—99, 101  
 Бялый Г. А. 105  
  
 Вагиф М. П. 179  
 Вазех М. III. 179  
 Валуев П. А. 160  
 Вахрушев В. С. 78, 82  
 Вебер Г. 50  
 Вердеревская Н. А. 59, 62  
 Вердеревский Е. А. 179  
 Верховский Г. О. 68  
 Виленская Э. С. 51  
 Вильмен Ф. 116  
 Вильсон Г. 89  
 Виноградов В. В. 191, 192  
 Володин А. И. 46, 99  
 Вольтер Ф. 81, 159  
 Воронов М. А. 141, 142  
 Вырубов Г. 99  
 Вязовский Ф. С. 186  
  
 Гакстгаузен А. 179  
 Ганнибал А. П. 33  
 Гарнье Э. 162  
 Гассенди П. 100  
 Гегель Г. 21, 27—29, 31, 94, 95, 101, 106, 113  
 Гейро Л. С. 160  
 Гельвеций К. 25—27, 30, 31, 34  
 Герцен А. И. 39, 73, 92—114, 163, 164, 170, 171, 173, 176  
 Гете И. 78, 82, 91, 94,, 105  
 Гизо Ф. 3, 114—131  
 Гладков Ф. В. 194  
 Гоббс Т. 28  
 Гоголь Н. В. 12—15, 60, 68, 71, 72, 74, 132, 133, 137, 154, 181  
 Головенченко Ф. М. 191, 192

- Головин И. Г. 171  
 Голубева (Чернышевская) Е. Е. 184  
 Голубева П. И. 184  
 Гольбах П. 25, 26, 27, 30, 40  
 Гольцев В. А. 54  
 Гончаров И. А. 68, 69, 160—162  
 Горький М. 163  
 Грановский Т. Н. 116—119, 121, 130  
 Греч Н. И. 172, 174, 176  
 Григоренко В. В. 188  
 Григорович Д. В. 141, 142  
 Григорьев А. А. 9, 12, 22  
 Гришунин А. Л. 134, 137  
 Гуд Т. 91  
  
 Давыдов И. И. 174, 176  
 Далин В. М. 114, 119  
 Дашкова Е. Р. 170  
 Денисов В. И. 189  
 Демченко А. А. 8, 184  
 Джафар М. 183  
 Джафаров Д. 183  
 Дидро Д. 103—105, 107  
 Диккенс Ч. 60, 69, 78  
 Дмитриев И. И. 77  
 Добровольский Л. М. 148  
 Добролюбов Н. А. 8, 22, 24, 30, 35—42, 47, 55, 56, 98, 99, 109, 118, 121, 122, 124, 125, 129, 152—154, 157, 158, 164—177, 181, 187  
 Дорошкевич О. 44  
 Достоевский Ф. М. 44, 45, 74, 126, 144—146  
 Дружинин А. В. 9, 22, 108  
 Дьяков А. А. (Незлобин А.) 159  
 Дювель В. 44  
 Дюбуа-Реймон Э. 98  
  
 Евгеньев-Максимов В. Е. 191  
 Евграфов В. Е. 190  
 Егоров Б. Ф. 108  
 Елисеев Г. З. 111  
  
 Жорж Санд 3, 59, 60, 62, 65, 69, 78, 79, 150  
 Жук А. А. 19  
 Жуковский В. А. 70  
 Жуковский Ю. Г. 109  
  
 Западов А. В. 68  
 Зарин Е. Ф. 111  
  
 Захарова К. П. 166  
 Зельдович М. Г. 4, 6, 7, 19—21, 108  
 Златовратский А. П. 163, 169, 173  
 Зотовы М. И. и П. А. 185  
  
 Иаков (епископ) 186—187  
 Ибрагимов М. 182, 183  
 Иванникова В. В. 114  
 Иловайский Д. И. 170  
  
 Кабанис П. 97  
 Кавелин К. Д. 117, 120, 129, 130  
 Казанский П. Н. 170  
 Казмиров Ю. М. 194  
 Каменский З. А. 17  
 Кант И. 27, 28, 38, 97  
 Кантор В. К. 9  
 Карамзин Н. М. 70  
 Каримуллин А. Г. 178  
 Карякин Ю. Ф. 46  
 Катков М. Н. 103, 113, 114, 159  
 Кирпотин В. Я. 188, 191  
 Ковалевская С. В. 163  
 Кожин В. В. 5  
 Козлов М. Е. 129  
 Козьмин Б. П. 188, 190, 191  
 Колосовская В. В. 166  
 Кольцов А. В. 78, 91  
 Конт О. 97, 99  
 Корнеев А. 176  
 Короленко В. Г. 44, 193, 194  
 Короленко С. В. 193, 194  
 Корочкин В. М. 45, 54, 55, 57  
 Костицын 188, 190  
 Костомаров В. Д. 149, 155  
 Котов А. К. 188, 189, 192, 193  
 Кочарли Ф. 180  
 Краснов Г. В. 164  
 Кривонос В. Ш. 132  
 Кубилюс В. 6  
 Курель-Сенель Ж. 162  
 Кушевский И. А. 141, 156—157  
  
 Лавров П. Л. 107  
 Лаврский В. В. 169  
 Лаплас П. 54—57, 97  
 Лассаль Ф. 162  
 Лебедев А. А. 46  
 Лебедев-Полянский П. И. 187—189  
 Левидов А. М. 68  
 Левин Ю. Д. 174  
 Ленин В. И. 50, 53, 59, 114, 188  
 Лермонтов М. Ю. 72, 77, 134, 137

- Леруа-Болье Ш. 47, 55, 162  
 Лесков Н. С. 146—149  
 Лессинг Г. 21, 57, 107, 170  
 Летурно Ш. 47, 55  
 Лившиц Л. 6  
 Лиманцева С. Н. 19  
 Литтре Э. 99  
 Лицинер С. Д. 93  
 Локк Д. 99—100  
 Ломоносов М. В. 157  
 Ломунов К. Н. 143  
 Луначарский А. В. 67  
 Людовик XI 123  
 Ляцкий Е. А. 184
- Макаров И. Г. 45  
 Макаровская Г. В. 71  
 Макнавелли Н. 129  
 Мак-Кулох Д. 162  
 Максимов Д. Е. 5  
 Маколей Т. 118, 122  
 Мальтус Р. 162  
 Мамедкулизаде Д. 181  
 Мамедов Ш. 181  
 Маркович Б. А. 44, 48  
 Маркович М. А. (Марко Вовчок)  
 38, 43, 44, 47, 55  
 Маркс К. 3, 25, 26, 43—46, 51—54,  
 58, 59, 184  
 Марлинский А. А. 136  
 Мачтет Г. А. 47  
 Медведев А. П. 193  
 Медведева Л. П. 75  
 Мещеряков Н. Л. 188  
 Милль С. 97, 109, 159, 162  
 Минье К. 116, 118  
 Михайлов А. В. 5  
 Михайлов М. Л. 174  
 Михайловский Н. К. 51  
 Мошотт Я. 98, 99, 106  
 Монтень М. 129  
 Мордовцев Д. Л. 141, 149, 152—  
 155  
 Мотрошилова Н. В. 98  
 Моцарт В. 91  
 Мур Т. 91  
 Мысляков В. А. 108  
 Мышкин И. Н. 191
- Надеждин Н. И. 13, 16, 17, 20, 21.  
 116  
 Наполеон I 30  
 Нариманов Н. 181  
 Недзвицкий А. 78
- Некрасов Н. А. 42, 47, 56, 72, 75,  
 76, 78, 91, 107, 164, 165, 168,  
 173, 174  
 Нечаева В. С. 191  
 Никитенко А. В. 18  
 Николаев П. А. 51, 134, 137, 138  
 Николаев П. Ф. 45, 46, 52  
 Николай I 176, 187  
 Новосильцев П. П. 172  
 Ньютон И. 54—57
- Огарев Н. П. 95  
 Огнев В. 24  
 Окен Л. 99  
 Оливье Э. 126  
 Ошоват А. Л. 9  
 Островский А. Н. 41, 121, 127—  
 129  
 Оуэн Р. 39
- Павлов Н. М. 111  
 Панаева А. Я. 47  
 Пантелеев Л. Ф. 191  
 Петр I 124  
 Пинаев М. Т. 75  
 Пиксанов Н. К. 192  
 Писарев Д. И. 71, 107, 154  
 Писемский А. Ф. 137, 157  
 Платон 99  
 Плеханов Г. В. 21, 50, 108—110  
 Прийма Ф. Я. 174  
 Плимак Е. Г. 46, 129  
 Полевой Н. А. 12—16, 116, 118,  
 136  
 Полевой Ю. З. 45  
 Полонский Я. П. 156  
 Прудон П. 109, 162  
 Пульхритудова Е. М. 147  
 Пушкин А. С. 14, 69—72, 116, 137,  
 157  
 Пыпин А. Н. 62, 191, 193  
 Пыпина (Голубева) А. Е. 185
- Радек Л. С. 93  
 Рафили М. 183  
 Рейсер С. А. 5, 175  
 Росляков Н. Л. 48  
 Россини Д. 91  
 Ростовцев Я. И. 176  
 Руденко Ю. К. 140  
 Руднева Е. Г. 18  
 Руссо Ж. 69, 78, 91
- Салтыков-Щедрин М. Е. 132, 160,  
 164, 169, 192

- Свердлина С. В. 43, 44, 46, 49, 164
- Свительский В. А. 138
- Сеидзаде А. А. 177, 181
- Сенковский О. И. 13
- Серафимович А. С. 194
- Скатов Н. Н. 133
- Скафтымов А. П. 59, 60, 62, 78, 79, 189, 191, 193
- Скориков Н. Ф. 49, 50
- Славутинский С. Т. 172
- Снидер А. 171
- Соколова Е. 68
- Сократ 29
- Соловьев С. М. 119, 120, 129, 130
- Сорокин Ю. С. 5
- Станкевич Н. В. 37—39
- Станюкович К. М. 157—159
- Стахович С. Г. 46, 51, 52
- Стеклов Ю. М. 141, 149, 155, 188
- Стефенсон Г. 163
- Суворин А. С. 141, 148, 149
- Тальбзаде К. 184
- Тарквиний 33
- Теккерей У. 78—92
- Теллинский М. В. 75
- Теренций 91
- Тихомиров 173
- Тойбин И. М. 19
- Токарский А. А. 55
- Токвиль А. 122
- Толстой Л. Н. 112, 132, 138, 139, 142—144, 164
- Травушкин Н. С. 45, 48, 50, 54, 58
- Троппе С. 185—186
- Трюбнер Н. 98
- Туниманов В. А. 74, 93
- Тур Е. 111, 135
- Тургенев И. С. 3, 68, 69, 92—94, 96, 97, 101, 102, 105, 108—110, 112—114, 132, 150—151, 163
- Турчанинов Н. П. 170—171
- Тьер Л. 116
- Удальцов И. Д. 188
- Урнов М. В. 89
- Успенский Г. И. 44, 55
- Успенский Н. В. 108
- Ушаков Д. Н. 52
- Фавр Ж. 126
- Федин К. А. 194
- Федоров К. М. 193
- Фейербах Л. 24, 29—32, 57, 97—101
- Филдинг Г. 69, 81
- Флавицкий К. Д. 170
- Франко И. Я. 182
- Фурье Ш. 29, 30, 37
- Фохт (Фогт) К. 97, 98, 100, 101, 106
- Ханыков А. В. 98
- Ханыков Я. Н. 98
- Хетагуров К. 182
- Храпченко М. Б. 6
- Церетели Г. Е. 182
- Чаадаев П. Я. 120, 126
- Чагин П. И. 189, 194
- Ченцов Н. М. 189
- Чернышевская Н. М. 3, 56
- Чернышевская О. С. 55, 191
- Чернышевский А. Н. 56
- Чернышевский М. Н. 58
- Чехов А. П. 7
- Чимароза 91
- Чириков Е. Н. 49
- Чичерин Б. Н. 119, 120, 122, 123, 129, 130
- Чуковский К. И. 142
- Шаталов С. Е. 109
- Шатобриан Ф. 116
- Шевченко Т. Г. 77, 78, 182
- Шевырев С. П. 13, 14
- Шекспир В. 115
- Шеллер-Михайлов А. К. 149—150
- Шеллинг Ф. 99
- Шемановский М. И. 170—172, 175
- Шиллер Ф. 78, 91
- Шлоссер Ф. 118, 129, 158
- Штирнер М. 101
- Шульгин В. Н. 191, 192
- Эдельсон Е. Н. 9
- Эйхенбаум Б. М. 142
- Энгельс Ф. 30, 45, 51, 53, 54
- Эртель А. И. 162
- Эфендиев Г. 183
- Юм Д. 104
- Юркевич П. Д. 100
- Яковлев Б. 187
- Ямпольский И. Г. 141
- Ярославцев Я. А. 96

## СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии . . . . . 3

### ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

- Зельдович М. Г. Критика и критики. Чернышевский и формирование понятия творческая индивидуальность критика . . . . . 4
- Белова Н. М. Этическая теория и концепция личности в трудах Чернышевского, Добролюбова и их западноевропейских предшественников . . . . . 24
- Свердлина С. В. О заметках Чернышевского на страницах сочинений Маркса . . . . . 43
- Вердеревская Н. А. Еще раз о Чернышевском и Ж. Санд . . . . . 59
- Теплинский М. В. Литературные реминисценции в романе «Что делать?» . . . . . 67
- Вахрушев В. С. «Что делать?» Чернышевского и «Ярмарка тщеславия» Теккерея. Переключки и полемика . . . . . 78
- Антонова Г. Н. «Отцы и дети» Тургенева в оценке Герцена. Из истории полемики 1860-х годов . . . . . 92
- Иванникова В. В. Чернышевский о Гизо . . . . . 114
- Кривонос В. Ш. Чернышевский о художественной специфике русской прозы . . . . . 132

### СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

- Ямпольский И. Г. Материалы для истории восприятия творчества Чернышевского . . . . . 141
- Бушканец Е. Г. Письма Н. А. Добролюбова . . . . . 164
- Рустамова З. И. Чернышевский и азербайджанская литература. Исторический очерк восприятия наследия революционного демократа в Азербайджане . . . . . 177
- Демченко А. А. К биографии Г. И. Чернышевского . . . . . 184
- Чернышевская Н. М. О работе над Полным собранием сочинений Н. Г. Чернышевского (1939—1953 гг.). . . . . 187
- Указатель имен . . . . . 195



**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**  
**Статьи, исследования и материалы**  
*Межвузовский научный сборник*

Редактор *М. П. Ларина*  
Художественный редактор *Е. И. Бочаров*  
Технический редактор *Н. И. Добровольская*  
Корректоры *Э. М. Левитин, Н. Е. Лагранская*

**ИБ 3000**

Сдано в набор 6.01.89. Подписано к печати 19.06.89. НГ45347. Формат 60×84<sup>1/16</sup>.  
Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,62(12,5). Уч.-изд. л. 12,1.  
Тираж 800. Заказ 38. Цена 2 р.

Издательство Саратовского университета, 410601, г. Саратов, ул. Университетская, 42.

Производственное объединение «Подграфист» управления издательств, полиграфии  
и книжной торговли Саратовского облисполкома. Саратов, пр. Кирова, 27.

2 P.

Издательство  
Саратовского  
университета